

# ЛЕВША ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



РУССКАЯ КУЛЬТУРА

НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ

Николай Лесков

**Левша. Повести и рассказы**

ТД "Белый город"  
1863–1885

УДК 821.161.1  
ББК 84Р1-44

**Лесков Н. С.**

Левша. Повести и рассказы / Н. С. Лесков — ТД "Белый город",  
1863–1885

ISBN 978-5-00119-034-9

Творчество Н.С. Лескова (1831–1895) раскрывает для читателя красоту души и величие характера русского человека, сочетающего в себе необычайную искренность, стремление к правде, вере и любви. В издание вошли лучшие повести и рассказы писателя. Сборник дополнен приложениями, включающими сведения о творческой истории произведений и критико-биографический очерк о Н.С. Лескове авторства известного писателя и публициста конца XIX века Р.И. Сементковского. Книга предназначена для самого широкого круга читателей, интересующихся русской классической литературой и культурой.

УДК 821.161.1

ББК 84Р1-44

ISBN 978-5-00119-034-9

© Лесков Н. С., 1863–1885  
© ТД "Белый город", 1863–1885

## Содержание

Язвительный	6
Леди Макбет Мценского уезда	19
Глава I	19
Глава II	21
Глава III	24
Глава IV	26
Глава V	27
Глава VI	28
Глава VII	34
Глава VIII	38
Глава IX	41
Глава X	44
Глава XI	46
Глава XII	48
Глава XIII	50
Глава XIV	52
Глава XV	55
Очарованный странник	60
Глава I	60
Глава II	67
Глава III	73
Глава IV	75
Глава V	80
Глава VI	87
Глава VII	93
Конец ознакомительного фрагмента.	95

**Николай Лесков**  
**Левша. Повести и рассказы**

© ООО ТД «Белый город», 2019

\* \* \*

**Язвительный**  
*Из гостомельских воспоминаний.*  
**Рассказ чиновника особых поручений**

*Капля камень долбит.*  
*Пословица*



При прежнем губернаторе у нас не позволялось курить в канцелярии. Старшие чиновники обычно куривали в маленькой комнатке, за правительским кабинетом, а младшие – в сторожке. В этом курении у наших чиновников уходила большая половина служебного времени.

Я и мои товарищи, состоявшие по особым поручениям, не обязаны были сидеть в канцелярии и потому не нуждались вовсе в канцелярских курильных закоулках; но все-таки каждый из нас считал своею обязанностью прийти покоптить папиросным дымом стены комнаты, находившейся за правительским кабинетом. Эта комната была для нас сборным местом, в которое всякий спешил поболтать, посплетничать, посмеяться и посоветоваться. Заседания здесь длились иногда до тех пор, пока сторож Кузьмич, отворяя двери, возглашал: «Правитель вышли, ваше благородие».

Один раз, наработавшись вволю над пересмотром только что оконченного мною следствия, я вышел прогуляться. День был прекрасный, теплый, с крыш падали капельки, на перекрестках улиц стояли лужи. Шаг за шагом я дошел до Болховской улицы и вздумал зайти покурить в канцелярию. Правитель был с докладом у губернатора. В комнате за правительским кабинетом я застал двух помощников правителя, полицмейстера и одного из моих товарищей, только что возвратившегося с следствия из дальнего уезда. Пожав поданные мне руки, я закурил папироску и сел на окно, ничем не прерывая беседы, начатой до моего прихода. Возвратившийся молодой чиновник особых поручений с жаром рассказывал об открытых им злоупотреблениях по М – скому полицейскому управлению. В рассказе, собственно, не было ничего занимательного, и им более всех был заинтересован сам рассказчик, веривший, что в нашей административной организации обнаружить зло – значит, сделать шаг к его искоренению. Из помощников правителя один-таки слушал этот рассказ, но другой без церемонии барабанил по окнам пальцами, а полицмейстер, оседлав ногами свою кавалерийскую саблю, пускал из-под усов колечки из дыма и как бы собирался сказать: «Глуп еси ты, младый व्यунош!»

Среди таких наших занятий растворилась дверь, соединявшая комнату с правительским кабинетом, и правитель проговорил кому-то:

– Вот наш клуб. Прошу здесь покурить; а я сейчас отделаюсь и буду к вашим услугам.

В двери показался высокий господин, лет сорока, в очках, с небольшой лысиной и ласковым выражением в лице.

– Господин Ден, – проговорил правитель, рекомендуя нам введенного нам господина. – Господин Ден приехал, господа, с полномочием князя К\* на управление его имениями. Прошу вас с ним познакомиться. Это мои сотрудники N. X. Y. Z., – отрекомендовал нас правитель господину Дену. Начались рукопожатия и отрывочные: «очень рад, весьма приятно» и т. д. Правитель с полицмейстером вышли в кабинет, а мы опять начали прерванный кейф.

– Вы давно в наших краях? – спросил с любезной улыбкой мой молодой товарищ г. Дена.

– Я первый раз в О – ской губернии, и только со вчерашнего дня, – отвечал г. Ден с не менее любезной улыбкой.

– Да; я не то спросил. Я хотел сказать: вы уже знакомы с нашей губернией?

– Не знаю, как вам ответить. И да, и нет. Я знаком с имениями князя по отчетам, которые мне предъявляли в главной конторе, и по рассказам моего доверителя. Но... Впрочем, я полагаю, что О – ская губерния то же самое, что и Воронежская и Полтавская, в которых я управлял уже княжескими имениями.

– Ну, не совсем, – отозвался один помощник правителя канцелярии, слывший у нас за политикозэконома.

– В чем же реже всего проявляются особенности О – ской губернии? – отнесся к нему Ден. – Я буду много обязан за ваши опытные указания.

– Да во многом.

– О, я не смею спорить; но мне бы хотелось узнать, на чем именно я могу споткнуться, если буду держаться в О – ской губернии системы управления, принятой мной с моего приезда в Россию?

Политикозэконом не ответил на этот вопрос Дену, потому что молодой чиновник перебил его вопросом:

– А вы давно в России?  
– Седьмой год, – отвечал Ден.  
– Вы... если не ошибаюсь...  
– Я англичанин.  
– И так хорошо говорите по-русски?  
– О, да. Я еще в Англии учился по-русски, и теперь опять седьмой год изо дня в день с крестьянами; что ж тут удивительного!

– Вы свыклись и с нашим народом, и с нашими порядками?

– Кажется, – улыбаясь, ответил Ден.

– Именения князя в нашей губернии не цветут.

– Да, я это слышал.

– Вам будет много труда.

– Как везде.

– Может быть, побольше, как в другом месте.

– Отчего же?

– Вы знаете, наша губерния по целой России известна.

– Да. Но я уже имел дело с местным народом. Я назад тому два года принял в Нижнем двести семей о – ских крестьян и сплыл с ними по Волге до самой Сызрани и там расселил их на пожалованных князю землях. Ничего-с. Нужна только система. Не нужно быть ни варваром, ни потатчиком, а вести дело систематически, твердо, настойчиво, но разумно. Во всем нужна система.

– Где же вы намерены основать свою резиденцию? – спросил политикозеконом.

– Я думаю, в Солтыкове?

– От чего же не в Жижках? Там покойная княгиня жила; там есть и готовый дом, и прислуга; в Солтыкове, кажется, ничего нет, – заметил молодой чиновник.

– У меня на это есть некоторые соображения.

– Своя система, – смеясь, вставил помощник правителя.

– Именно.

Правитель с шляпой на голове отворил дверь и сказал Дену: «Едем-с!»

Мы пожали опять друг другу руки и расстались.

Солтыки находятся в соседстве с Гостомельскими хуторами. Между ними всего расстояние считают верст девять, не более, и они всегда на слуху друг у друга. Заезжая по делам службы в К – ской уезд, я обыкновенно всегда заворачивал на хутора, чтобы повидаться с матушкой и взглянуть на ее утлое хозяйство. Мать моя познакомилась с Стюартом Яковлевичем Деном и с его женою и при всяком свидании со мною все никак не могла нахвалиться своими новыми соседями. Особенно она до небес превозносила самого Дена. «Вот, – говорила она, – настоящий человек; умный, рассудительный, аккуратный. Во всем у него порядок; знает он, сколько можно ему издержать, сколько оставить; одним словом, уж видно, что не нашего, дурацкого, воспитания. Если б наши господа умели понимать и ценить таких людей, так давно бы не то было».

Другие соседи тоже были без ума от Дена. Ден говорит, так-то надо делать; Ден так-то не советует делать; только и слов. Рассказам конца нет. Повествуют, как все отменилось в княжеских имениях с приезда Стюарта Яковлевича, все, говорят, на ноги поднял; даже отъявленных воров, которых в нашем крае урожай, и тех определил в дело.

Да еще так; самых известных лентяев поделал надсмотрщиками по работам; а воров, по несколько раз бывших в остроге, назначил в экономы, в ключники да в ларечники, и все идет так, что целый округ завидует. «Вот, – думаю себе, – дока-то на к – ских мужиков явился!»

Хотелось мне самому посмотреть на солтыковские диковины, да все как-то не приходилось. А там временем годочка полтора прошло, и опять наступила зима.



Вечером 4 декабря жандарм принес мне записку, в которой дежурный чиновник звал меня вечером в одиннадцать часов к губернатору.

– Вы, кажется, здешний уроженец? – спросил меня губернатор, когда я вошел к нему вечером.

Я отвечал утвердительно.

– Вы жили в К – ском уезде?

– Я там провел мое детство.

– И у вас там есть много знакомых? – продолжал спрашивать губернатор.

«Что же, лихо!» – подумал я, выдерживая этот допрос, и отвечал, что я хорошо знаю почти весь уезд.

– У меня к вам есть просьба, – начал губернатор. – Пишет мне из Парижа князь К\*, что послал он в свои здешние имения англичанина Дена, человека сведущего и давно известного князю с отличной стороны, а между тем никак не огребется от жалоб на него. Сделайте милость, – не в службу, а в дружбу, – съездите вы в К – ской уезд, разузнайте это дело по совести и дайте мне случай поступить по совести же.

Поехал я в К – мы в эту же ночь, а к утреннему чаю был у моей матери. Там о жалобах к – ских крестьян на Дена и слуху нет. Спрашиваю матушку: «Не слыхала ли, как живут солтыковские мужики?»

– Нет, мой друг, не слыхала, – говорит. – А впрочем, что им при Стюарте Яковлевиче?

– Может быть, горяч он.

– В порядке, разумеется, спрашивает.

– Сечет, может, много?

– Что ты! Что ты! Да у него и розг в помине нет! Кого если секут, так на сходке: по мирской воле.

– Может быть, он...

– Что?

– Чужбинку любит?

– О, дурак! Право, дурак! – проговорила мать и плюнула.

– Да вы чего, матушка, сердитесь-то?

– Да что ж ты глупости говоришь!

– Отчего же глупости? Ведь вы, чай, знаете, что это бывает.

– Подумай сам: ведь он женатый!

– Да ведь и ваш племянник Иосаф Михайлович женат.

– Э! поди ты! – опять крикнула мать, плохо скрывая свою улыбку.

– Ну, чем же nibудь он да не угодил на крестьян.

– Что, мой друг, чем угождать-то! Они голманы были, голманы и есть. Баловство да воровство, вот что им нужно.

Объехал два-три соседних дома – то же самое. На Николин день в селе ярмарка. Зашел на поповку, побеседовал с духовными, стараясь между речами узнать что-нибудь о причинах недовольствия крестьян на Дена, но от всех один ответ, что Стюарт Яковлевич такой управитель, какого и в свете нет. «Просто, – говорят, – отец родной для мужика».

Что тут делать? Верно, думаю себе, в самом деле врут мужики. Так приходилось ни с чем ехать в губернский город.

В К – мах я заехал, без всякой цели, к старому приятелю моего покойного отца, купцу Рукавичникову. Я хотел только обогреться у старика чайком, пока мне приведут почтовых лошадей, но он ни за что не хотел отпустить меня без обеда. «У меня, – говорит, – сегодня младший сынок именинник; пирог в печи сидит, а я тебя пушу! Нет, барин, и не думай. А то вот призову старуху с невестками и велю кланяться». Надо было оставаться.

– Тем часом пойдем, чайку попьем, – сказал мне Рукавичников.

Нам подали на мезонин брюхастый самовар, и мы с хозяином засели за чай.

– Ты, что, парень, был у нас волей, неволей или своей охотой? – спросил меня Рукавичников, когда мы уселись и он запарил чай и покрыл чайник белым полотенцем.

– Да, и волей, и неволей, и своей охотой, Петр Ананьич, – отвечал я.

– Небось, опять по расколу что затевает ваш большак?

– Нет, слава Богу, не то.

– Какое же такое дело?

Я знал, что Петр Ананьич ко мне очень расположен и что он человек умный, скромный и весь уезд знает как свои пять пальцев.

– Вот, – говорю, – какое дело, и пустое, да и мудреное, – и рассказал ему свое поручение.

Петр Ананьич слушал меня внимательно и во время рассказа несколько раз улыбался; а когда я кончил, проговорил только: «Это, парень, загвоздка».

– А вы знаете Дена?

– Как, сударь, не знать! – знаем.

– Ну, что вы о нем скажете?

– Да, что ж о нем сказать?.. – проговорил старик, разведя руками.

– Хороший он человек?

– Надо быть, хороший.

– Честный?

– И в этом покорить грех.

– Строг уж, что ли, очень?

– Ничего этого не слышно.

– Что ж это, с чего на него жалуются-то?

– А как тебе сказать... не по нутру он мужикам, вот и жалобы.

– Да отчего не по нутру-то?

– Порядки, говорят, очень тяжелы.

– Работой, что ли, отягощает? – все добиваюсь я у Рукавичникова.

– Ну, какое отягощение! Вдвое против прежнего им теперь легче... А! да вот постой! Филат! Филат! – крикнул в форточку Рукавичников. – Вот сейчас гусли заведем, – прибавил он, закрыв окно и снова усевшись за стол.

В комнату влез маленький подслеповатый мужичок с гноющимися глазами и начал креститься на образа.

– Здравствуй, Филат Егорыч! – сказал Рукавичников, дав мужику окреститься.

– Здравствуйте, батюшка Петр Ананьич.

– Как живешь-можешь?

– Ась?

– Как, мол, живешь?

– А! Да все сла-те Богу живем.

– Дома все ли здорово?

– Ничего будто.

– Всем, значит, довольны?

– Ась?

– Всем, мол, довольны?

– И-и! Чем довольными-то нам быть.

– Что ж худо?

– Да все Бог его знает; будто как невольготно показывается.

– Управитель, что ль, опять.

– Да, а то кто ж!

– Аль чем изобидел?

- Да так будто.
- Что ж такое?
- Вот завод затеял строить.
- Ну?
- Ну, и в заработки на Украину не пускает.
- Никого?
- Ни одного плотника не пустил.
- Это нехорошо.
- Какое ж хорошество! Барину жалились; два прошения послали, да все никакой еще лизирущи нет.
- Поди ж, ты горе какое! – заметил Рукавичников.
- Да. Так вот и маемся с этаким с ворогом.
- Видите, какой мошенник ваш Ден! – сказал, обратясь ко мне, Рукавичников.
- Мужик в меня воззрился.
- А вот теперь я вам расскажу, – продолжал мой хозяин, – какой мошенник вот этот самый Филат Егорыч.
- Мужик не обнаружил никакого волнения.
- Господин Ден, ихний управляющий, человек добрейшей души и честнейших правил...
- Это точно, – встрял мужичок.
- Да. Но этот г. Ден с ними не умеет ладить. Все какие-то свои порядки там заводит; а по моему, не порядки он заводит, а просто слабый он человек.
- Это как есть слабый, – опять подсказал мужичок.
- Да. Он вот у них другой год, а спросите: тронул ли он кого пальцем? Что, правду говорю или вру?
- Это так.
- Вот, извольте видеть, им это не нравится. Наказания у него все мягкие, да и то где-где соберется; работа урочная, но легкая: сделай свое и иди куда хочешь.
- Ступай, значит.
- Что?
- Сделаешь свое – ступай, говорю, куда хочешь, – повторил мужичок.
- Да. Ну-с, они вот на него жалобы строчат.
- Мужик молчал.
- Ну, а на разборки-то он их зачем же не пускает? – говорил я.
- Не пускает-с, не пускает. А вы вот извольте расспросить Филата Егоровича, много ли ему его сыночек за два года из работы принес. Расскажи-ка, Филат Егорыч.
- Мужичок молчал.
- А принес ему, сударь мой, его сыночек украинскую сумку, а в ней сломанную аглицкую рубанку, а молодой хозяйке с детками французский подарочек, от которого чуть у целой семьи носы не попроваливались. Вру, что ль? – опять обратился Рукавичников к мужичку.
- Нет, это было.
- Да, было. Ну-с, а Стюарт Яковлевич задумал завод винный построить. Я его за это хвалю, потому что он не махину какую заводит, а только для своего хлеба, чтоб перекурить свой хлеб, а бардой скотинку воспитать. Приходили к нему разные рядчики. Брали всю эту постройку на отряд за пять тысяч, он не дал. Зачем он не дал?
- Мы этого знать не можем, – отвечал Филат Егорыч.
- Нет, врешь, брат, знаешь. Он вам высчитывал, что с него чужие просят за постройку; выкладывал, почем вам обходится месяц платою у подрядчика, и дал вам рублем на человека в месяц дороже, только чтоб не болтались, а дома работали.
- Это такая говорка точно была.

– То-то, а не не можем знать. Ну, они вот теперь, небось, настрочили, что на работу не пускает, все на заводе морит; а насчет платы ни-ни-ни. Так, что ль?

– Не знаю я этого.

– Да уж это как водится. Вот вам и Филат Егорыч, старый мой друг и приятель! Любите – жалуйте его.

Мужик осклабился.

– А вот меня бы вам в управители! – шутливо продолжал Рукавичников. – А! Приняли б вы меня?

– Да с чего ж?

– И не ссорились бы мы никогда; все бы у нас по-любезному пошло. Потому что порядок бы у нас душевный был. Ты, Филат Егорыч, пробаловался – на клин тебя; молодой парень какой где проворовался или что другое – за виски его посмыкал; раздобылся чем таким на Украине, вроде вот Филата Егорыча сынка, ну – в больницу его, а потом покрапил березовым крапильцем, да и опять пушай. Так, что ли, Филат Егорыч?

– По-нашему, так.

– Ну, вот! Ведь я знаю.

Мужичка отпустили.

– Что же это такое, однако? – спрашивал я Рукавичникова, соображая, что скажет он о Дене.

– А вот видишь сам, сударь мой. Господин Ден человек хороший, да не наш; мой бы ему совет уходить отсюда, а не то они ему приведут машину.

Рассказал я это дело губернатору во всей подробности. Губернатор просто на стену прыгает: доволен, что в его губернии завелся такой сельский администратор, как Стюарт Яковлевич Ден.

В пятницу на Масленице у губернатора были званые блины. Весь город почти собрался. За столом дежурный чиновник подал губернатору конверт. Губернатор сорвал печать, прочел бумагу и отпустил дежурного со словом: «Хорошо!» Но видно было, что что-то совсем не хорошо. Вставши из-за стола, губернатор поговорил кое с кем из гостей и незаметно вышел с правителем в кабинет, а через четверть часа и меня туда позвали. Губернатор стоял, облокотясь на свою конторку, а правитель что-то писал за его письменным столом.

– Скверное дело случилось, – сказал губернатор, обратясь ко мне. – в Солтыкове бунт.

– Как бунт?

– Да вот читайте.

Губернатор подал мне с конторки бумагу, полученную им за обедом. Это было донесение к – ского исправника, писавшего, что вчера солтыковские мужики взбунтовались против своего управителя, сожгли его дом, завод и мельницы, а самого управляющего избили и выгнали вон.

– Я посылаю вас в Солтыково, – сказал губернатор, когда я пробежал донесение исправника. – Сейчас получите открытое предписание к инвалидному начальнику; берите команду; делайте, что нужно, но чтоб бунта не было и чтоб виновные были открыты. Собирайтесь скорее, чтоб к утру быть на месте и идти по горячим следам.

– Позвольте мне не брать команды, – сказал я губернатору. – Я там всех знаю и надеюсь без команды исполнить ваше поручение: команда мне только помешает.

– Это как знаете, но про всякий случай возьмите предписание к инвалидному начальнику.

Я поклонился и вышел, а через четыре часа уже пил чай у к – ского исправника, с которым должен был вместе ехать в Солтыково. От К – м до Солтыково всего верст пятнадцать, и мы приехали туда ночью. Остановиться было негде. Управительский дом, контора, людская, прачечная, мастерские – все было сожжено вместе с заводом и мельницами, и по черным грудам

теплого пепелища еще кое-где вились синие струйки дыма от тлеющих головней. Поместились в избе у старосты Лукьяна Мастакова и послали за становым. Утром ранехонько прибежал становой и привез с собой солтыковского мужичка, Николая Данилова, взятого им вчера под арест по подозрению в поджоге завода и в возмущении крестьян к бунту.

– Что ж вы узнали? – спрашиваю я станового.

– Поджог был-с.

– Отчего вы это думаете?

– Загорелись ночью нежелые строения и все сразу.

– Кого же вы подозреваете в поджоге?

Становой развел руками с выражением полнейшего недоумения.

– По какому поводу вы арестовали этого мужика?

– Николая Данилова-то-с?

– Да.

– Да так. Он был наказан в этот день Деном, грубил ему и к тому же ночью оставался у завода, который почти прежде всего вспыхнул.

– И только?

– Да, только-с. Других указаний нет. Мужики все запираются.

– Вы допрашивали кого-нибудь?

– Делал дознание.

– И ничего не узнали?

– Ничего пока.

Вошел староста и остановился у порога.

– Что скажешь, Лукьян Митрич? – спросил я.

– К твоей милости.

– То-то, почто к моей милости?

– Мужики собрались.

– Кто же тебе приказывал их собирать?

– Сами собрались; хотят с тобой гуторить.

– Где же они?

– Да вот туточка. – Староста указал на окно. Против окна стояла огромная толпа крестьян. Были и старики, и молодые ребята, и середовые мужики: все стояли смирно, в шапках, у некоторых были палки.

– Ого! Сколько их, – сказал я, сохраняя все спокойствие.

– Вся отчина, – заметил староста.

– Ну, поди, Митрич, скажи им, что сейчас оденусь и выйду.

Староста ушел.

– Не ходите! – сказал мне становой.

– Отчего?

– Долго ль до греха.

– Ну, уж теперь поздно. Избяная дверь не спасет: если пришли не даром, так и в избе найдут.

Надел я шубу и вместе с исправником и с становым вышел на крылечко. Толпа зашаталась, шапки понемногу стали скидываться с голов, но нехотя, не разом, и несколько человек в задних рядах вовсе не скинули шапок.

– Здравствуйте, ребяташки! – сказал я, сняв шапку.

Мужики поклонились и прогудели: «Доброго здоровья!»

– Накройтесь, ребята; холодно.

– Ничего, – опять прогудели мужики, и остальные шапки с голов исчезли.

– Пожалуйста, покройтесь.

– Мы так постоим.

– Наше дело привычное.

– Ну, так я вам велю накрыться. – Велишь, такое дело!

Один-два мужика надели шапки, за ними одели и остальные.

Успокоился я. Вижу, что не ошибся, не взяв команды.

У самого крыльца стояли сани парой, и на них сидел Николай Данилов, с ногами, забитыми в березовую колодку. Он в черной свите, подпоясан и на голове меховая шапка. На вид ему лет тридцать пять, волосы темно-русые, борода клинушкой, взгляд тревожный и робкий. Вообще лицо выражает какую-то подавленность, но спокойно и довольно благообразно, несмотря на разбитую губу и ссадину на левой скуле. Он сидит без движения и смотрит то на меня, то на толпу.

– Что же вам, ребята, от меня желается? – спросил я сходку.

– Это ты будешь от губернатора-то? – спросил меня середовой мужик из переднего ряда.

– Я.

– Ты чиновник?

– Чиновник.

– Губернаторский?

– Да.

– Ну-к мы с тобой хотим побалакать.

– Извольте. Я вот слушаю.

– Нет, ты сойди оттолева, с крыльца-то. Мы с тобой с одним хотим поговорить.

Я, не задумываясь, вошел в толпу, которая развернулась, приняла меня в свои недра и тотчас же опять замкнулась, отрезав меня, таким образом, от исправника и станового.

Середовой мужик, пригласивший меня сойти, стоял передо мною.

– Ну, о чем будем говорить? – спросил я.

– Ты ведь Марьи Петровны сынок, что ль? – опять начал допрашивать меня тот же мужик.

– Ну, да. Разве не знаете?

– Нет, мы знаем. Мы потому тебя сюда и истребовали, что ты наш, тутошний, притоманный.

– О чем же хотели говорить?

– Да вот по этому делу-то.

Послышалось несколько вздохов со всех сторон.

– Это ведь ваше дело, ребята?

– Божье, сударь, Божье, а не наше.

– Зачем вы выгнали управителя?

– Он сам уехал.

– Еще бы! коли вы его мало что не убили.

Молчат.

– Что теперь будет-то?

– Вот то-то мы тебя и потребовали, чтоб ты нам рассказал, что нам будет?

– Каторга будет.

– За управителя-то?

– Да, за управителя, за поджог, за бунт: за все разом.

Мужики повесили головы.

– Бунта никакого не было, – проговорил кто-то.

– Да это что, ребята! Отпираться теперь нечего, – сказал я. – Дела налицо; сами за себя говорят. Будете запирались, пойдут допросы да переспросы, разовретесь и понесете такую штуку, что все перепутаетесь. А вы б подумали, нельзя ли как этому делу поумней пособить.

– Это точно, – буркнули опять несколько голосов.

– То-то и есть. А теперь прощайте! Говорить нам, стало, уж не о чем.

Я тронул рукою одного мужика, он посторонился, а за ним и другие дали мне дорогу.

Начались допросы. Первого стали спрашивать Николая Данилова. Перед допросом я велел снять с него колодку. Он сел на лавку и равнодушно смотрел, как расклиняли колодку, а потом так же равнодушно встал и подошел к столу.

– Что, дядя Николай! Экое дело вы над собой сделали! – сказал я арестанту.

Николай Данилов утер рукавом нос и ни слова не ответил.

– Что ж ты за себя скажешь?

– Что, Михайло Иваныч, говорить-то? – произнес он с сильным дрожанием в голосе.

– Да говори, брат, как дело было?

– Я ведь этого дела не знаю и ни в чем тут не причинен.

– Врешь! – крикнул становой.

Я посмотрел на станового и, не переменяя тона, спросил снова:

– Ну, расскажи, что знаешь?

– Я только не знаю, что со мной было.

– Ну, что с тобой было?

– Озорничал надо мной управитель, да и только.

– Как же он озорничал?

– Да как ему хотелось.

– Бил, что ль?

– Нет, не бил.

– Что ж он над тобой делал?

– Срамил меня.

– Как так срамил он тебя?

– Он ведь на это документчик у нас.

– Да ты говори, Николай, толком, а то я и отступлюсь от тебя, – сказал я, махнув рукой.

Николай подумал, постоял и сказал:

– Позвольте сесть. У меня ноги болят от колодки.

– Садись, – сказал я и велел подать обвиняемому скамейку.

– Просился я в работу, – начал Николай Данилов. – Просился со всеми ребятами еще осенью; ну, он нас в те поры не пустил. А мне беспрременно надоть было сходить в Черниговскую губернию.

– Деньги, что ли, остались за кем-то?

– Нет.

– Что же?

– Так; другое дело было.

– Ну!

– Ну, не пустил. Заставил на заводе работать. Я поработал неделю, да и ушел.

– Куда?

– Да туда ж, куда сказывал.

– В Черниговскую губернию?

– Ну, да.

– Что ж у тебя за дело такое там было?

– Водку дешевую пить, – подсказал становой.

Николай ничего не ответил.

– Ну, что ж дальше было?

– А дальше зариштовали меня в Корилевце да пригнали по пересылке в наш город и, пригнамши, сдали управителю. – Без наказания?

– Нет, наказали, а опосля ему отдали. Он меня сичас опять на работу приставил, а я тут-то, ден десять назад, опять ушел да зашел в свою деревню, в Жогово. Ну, там меня бурмистр сцапал, да опять к управителю назад.

– Что ж он, как привезли тебя к нему?

– Велел на угле сидеть!

– Как на угле?

– А так. Ребята, значит, работают, а я чтоб на угле, на срубе перед всем миром, сложимши руки, сидел.

– Ну, ты сидел?

– Я опять ушел.

– Зачем же?

– Да я ему молился: говорил: «Позвольте, стану работать». Не позволил. «Сиди, – говорит, – всем напоказ. Это тебе наказание». – «Коли, – говорю, – хотите наказывать, так наказывайте, чем вам угодно; высеките, – говорю, – меня лучше, чем буду сидеть всем насмех». Не уважил. Как зазвонили на обед, ребята пошли обедать, и я ушел, да за деревней меня гнали.

– Ну?

– Ну, тут-то уж он меня и обидел больше.

– Чем же?

– На нитку привязал.

– Как на нитку?

– Так, – покраснев до ушей, нараспев проговорил Николай Данилов. – Привел к заводу, велел лакею принести из хором кресло, поставить это кресло против рабочих, посадить меня на него, а в спинку булавку застремил да меня к ней и привязал, как воробья, ниточкой.

Все засмеялись, да и нельзя было не смеяться, глядя на рослого, здорового мужика, рассказывающего, как его сажали на нитку.

– Ну, и долго ты сидел на нитке?

Николай Данилов вздохнул и обтерся. У него даже пот проступил при воспоминании о нитке.

– Так целый день вроде воробья и сидел.

– А вечером пожар сделался?

– Ночью, а не вечером. В третьи петухи, должно, загорелось.

– А ты как узнал о пожаре?

– Крик пошел по улице, я услышал; вот и все.

– А до тех пор, пока крик-то пошел, – спрашиваю его, – ты где был?

– Дома, спал под сараем.

Говорит это покойно, а в глаза не смотрит.

– Ну, а управителя как выгнали?

– Я этого не знаю ничего.

– Да, ведь, чай, видел, как перед заводом на кулаки-то подняли!

Молчит.

– Ведь тут уж все были?

– Все.

– И все, должно быть, били?

– Должно, что так.

– И ты поукладил?

– Нет. Я не бил.

– Ну, а кто же бил? – Все били. – А ты никого не заприметил?

– Никого.



Взяли Николая Данилова в сторону и начали допрашивать ночных сторожей, десятников, Миколаевых семейных, соседей и разных-разных людей. В три дня показаний сто сняли. Если б это каждое показание записать, то стопу бы целую написал, да хорошо, что незачем было их записывать, – все как один человек. Что первый сказал, то и другие. А первый объяснил, что причины пожара он не знает; что, может, это и заподлинно поджог, а может, и Господь про то только знает; но что он сам в поджоге не участвовал и подозрения ни на кого не имеет, опричь, как разве самого управителя, потому что он был человек язвительный, даже мужиков на нитку, вроде воробьев, стал привязывать. Управителя же никто не выгонял, а он сам по доброй воле выехал, так как неприязньность ему была от мужиков: побили его на пожаре.

– Кто ж бил-то?

– Все били.

– И ты бил?

– Нет, я не бил.

– Ну, приметил кого-нибудь?

– Нет, миром били.

– А ты, стало, от мира отстал?

Долгое молчание, а потом решительный ответ:

– Я не бил.

– Кто ж бил?

– Миром били.

– За что?

– Уж очень он нас донял; даже на нитку, вроде как воробьев, стал привязывать.

Следующие девяносто девять показаний были дословным повторением первого и записывались словами: «Иван Иванов Сушкин, 43 лет, женат, на исповеди бывает, а под судом не был. Показал то же, что и Степан Терехов».

Вижу: разваляют из этого дело ужасное. Подумал-подумал и велел Николая Данилова содержать под присмотром, а становому с исправником сказал, что на три дня еду в О – л. Приехал, повидался с правителем, и пошли вместе к губернатору. Тот вечерний чай пил и был в духе. Я ему рассказал дело и, придавая всему, сколь мог, наивный характер, я убедил его, что, собственно, никакого бунта не было и что если бы князь К. захотел простить своих мужиков, то дело о поджоге можно бы бросить и не было бы ни следствия, ни экзекуций, ни плетей, ни каторжной работы, а пошел бы старый порядок и тишина.

Слова «порядок и тишина» так понравились губернатору, что он походил, подумал, потянул свою нижнюю губу к носу и сочинил телеграмму в шестьдесят слов к князю. Вечером же эта телеграмма отправлена, а через два дня пришел ответ из Парижа. Князь телеграфировал, что он дает мужикам амнистию, с тем, чтобы они всем обществом испросили у г. Дена прощения и впредь не смели на него ни за что жаловаться.

Приехал я с этой амнистией в Солтыково, собрал сходку и говорю:

– Ребята! так и так, князь вас прощает. Я просил за вас губернатора, а губернатор князя, и вот от князя вам прощение, с тем, чтобы вы тоже выпросили себе прощение у управителя и впредь на него не жаловались понапрасну. Кланяются, благодарят.

– Ну, как же? Надо вам выбрать ходоков и послать в город к управителю с повинной.

– Выберем.

– Нужно это скоро сделать.

– Нынче пошлем.

– Да уж потом не дурачиться.

– Да мы неш сами рады? Мы ему ничего; только бы его от нас прочь.

– Как же прочь! Князь разумеет, что вы теперь будете жить с Деном в согласии.

– Это опять его, значит, к нам? – спросили разом несколько голосов.

- Да, а то что ж я вам говорил?
  - Таак-то! Нет; мы на это не согласны.
  - Вы ж сами хотели нынче ж послать ходоков: просить у него прощения.
  - Да, мы прощения попросим, а уж опять его к себе не согласны.
  - Так следствие будет.
  - Ну, что будет, то нехай будет; а нам с ним никак нельзя обходиться.
  - Что вы врете! Одумайтесь: вас половинку посылают.
  - Нет! нет! нам с ним никак невозможно. Нам такого врага некуда девать.
  - Да чем он вам враг?
  - Как же не враг! Мужика, хозяина на нитку, как воробья, привязывал, да еще не враг!
  - Да забудьте вы эту дурацкую нитку! Эка штука большая! Небось лучше бывало при самом князе. Не издыхали, садовые дорожки подчищавши; не глаживали, как вороны на конюшне стоят?
  - Ну, дарма. Он господин, его была и воля; а уж этого, как управитель, он все ж не делал. Господи помилуй! – на нитку вроде воробья сажать... чего мы над собой сроду родясь не видавали.
  - Подумайте, ребята!
  - Что думать? Думано уж. С ним до греха еще хуже дождешься.
  - Ну, он уж не будет вас на нитку привязывать. Я вам ручаюсь.
  - Он другое измыслит над нами не хуже этого.
  - Что ему измышлять?
  - Он язвительный человек такой.
  - Полноте, ребята. Надо губернатору ответ дать.
- Пауза.
- Что ж! Мы прощенья просить готовы.
  - А управителя примите?
  - Этого нельзя сделать.
  - Да от чего нельзя-то?
  - Он язвительный.

\* \* \*

Ничего больше от солтыковских мужиков не добились, и пошло уголовное дело.

## Леди Макбет Мценского уезда

### Очерк

*Первую песенку зардевшись спеть.*  
*Поговорка*

## Глава I

Иной раз в наших местах задаются такие характеры, что как бы много лет ни прошло со встречи с ними, о некоторых из них никогда не вспомнишь без душевного трепета. К числу таких характеров принадлежит купеческая жена Катерина Львовна Измайлова, разыгравшая некогда страшную драму, после которой наши дворяне, с чьего-то легкого слова, стали звать ее *Леди Макбет Мценского уезда*.

Катерина Львовна не родилась красавицей, но была по наружности женщина очень приятная. Ей от роду шел всего двадцать четвертый год; роста она была невысокого, но стройная, шея точно из мрамора выточенная, плечи круглые, грудь крепкая, носик прямой, тоненький, глаза черные, живые, белый высокий лоб и черные, аж досиня черные волосы. Выдали ее замуж за нашего купца Измайлова с Тускари из Курской губернии, не по любви или какому влечению, а так, потому что Измайлов к ней присватался, а она была девушка бедная и перебирать женихами ей не приходилось. Дом Измайловых в нашем городе был не последний: торговали они крупчаткою, держали в уезде большую мельницу в аренде, имели доходный сад под городом и в городе дом хороший. Вообще купцы были зажиточные. Семья у них к тому же была совсем небольшая: свекор Борис Тимофеевич Измайлов, человек уже лет под восемьдесят, давно вдовый; сын его Зиновий Борисыч, муж Катерины Львовны, человек тоже лет пятидесяти с лишком, да сама Катерина Львовна, и только всего. Детей у Катерины Львовны пятый год, как она вышла за Зиновия Борисыча, не было. У Зиновия Борисыча не было детей и от первой жены, с которой он прожил лет двадцать, прежде чем овдовел и женился на Катерине Львовне. Думал он и надеялся, что даст ему Бог хоть от второго брака наследника купеческому имени и капиталу; но опять ему в этом и с Катериной Львовной не посчастливилось.

Бездетность эта очень много огорчала Зиновия Борисыча и не то, что одного Зиновия Борисыча, а и старика Бориса Тимофеича, да даже и самое Катерину Львовну это очень печалило. Раз, что скука непомерная в запертном купеческом терему с высоким забором и спущенными цепными собаками не раз наводили на молодую купчиху тоску, доходящую до одури, и она рада бы, Бог весть как рада бы она была поняньчиться с деточкой; а другое – и попреки ей надоели: «Чего шла, да зачем шла замуж; зачем завязала человеку судьбу, неробдица», словно и в самом деле она преступление какое сделала и перед мужем, и перед свекром, и перед всем их честным родом купеческим.

При всем довольстве и добре житье Катерины Львовны в свекровом доме было самое скучное. В гости она езжала мало, да и то, если и поедет она с мужем по своему купечеству, так тоже не на радость. Народ все строгий: наблюдают, как она сядет, да как пройдет, как встанет; а у Катерины Львовны характер был пылкий, и, живя девушкой в бедности, она привыкла к простоте и свободе: пробежать бы с ведрами на реку да покупаться бы в рубашке под пристанью или обсыпать через калитку прохожего молодца подсолнечною лузгою; а тут все иначе. Встанут свекор с мужем ранехонько, напьются в шесть утра чаю, да и по своим делам, а она одна слоняет слоны из комнаты в комнату. Везде чисто, везде тихо и пусто, лампы сияют перед образами, а нигде по дому ни звука живого, ни голоса человеческого.

Походит, походит Катерина Львовна по пустым комнатам, начнет зевать от скуки и полезет по лесенке в свою супружескую опочевальню, устроенную на высоком небольшом мезонинчике. Тут тоже посидит, поглазеет, как у амбаров пенку вешают или крупчатку ссыпают – опять ей зевнется, она и рада: прикорпеть часок-другой, а проснется – опять та же скука, русская, скука купеческого дома, от которой весело, говорят, даже удавиться. Читать Катерина Львовна была не охотница, да и книг к тому ж, кроме Киевского патерика, в доме их не было.

Скучною жизнью жилось Катерине Львовне в богатом свекровом доме в течение целых пяти лет ее жизни за неласковым мужем; но никто, как водится, не обращал на эту скуку ее ни малейшего внимания.

## Глава II

На шестую весну Катерины Львовниного замужества у Измайловых прорвало мельничную плотину. Работы на ту пору, как нарочно, на мельницу было завезено много, а прорва учинилась огромная: вода ушла под нижний лежень холостой скрыни, и захватить ее скорой рукой никак не удавалось. Согнал Зиновий Борисыч народу на мельницу с целой округи, и сам там сидел безотлучно; городские дела уж один старик правил, а Катерина Львовна маялась дома по целым дням одна-одинешенька. Сначала ей без мужа еще скучней было, а тут будто даже как и лучше показалось: свободнее ей одной стало. Сердце ее к нему никогда особенно не лежало, а без него, по крайней мере, одним командиром над ней стало меньше.



Сидела раз Катерина Львовна у себя на вышке под окошечком, зевала-зевала, ни о чем определенном не думала, да и стыдно ей, наконец, зевать стало. А на дворе погода такая чудесная: тепло, светло, весело, и сквозь зеленую деревянную решетку сада видно, как по деревьям с сучка на сучок перепархивают разные птички.

«Что это я в самом деле раззевалась? – подумала Катерина Львовна. – Семну я хоть встану по двору погуляю или в сад пройдусь».

Накинула на себя Катерина Львовна старую штофную шубочку и вышла.

На дворе так светло и крепко дышится, а на галерее у амбаров такой хохот веселый стоит.

– Чего это вы так радуетесь? – спросила Катерина Львовна свекровых приказчиков.

– А вот, матушка Катерина Ильвовна, свинью живую вешали, – отвечал ей старый приказчик.

– Какую свинью?

– А вот свинью Аксиныю, что родила сына Василья да не позвала нас на крестины, – смело и весело рассказывал молодец с дерзким красивым лицом, обрамленным черными как смоль кудрями и едва пробивающейся бородкой.

Из мучной кади, привешенной к весовому коромыслу, в эту минуту выглянула толстая рожа румяной кухарки Аксины.

– Черти, дьяволы гладкие, – ругалась кухарка, стараясь схватиться за железное коромысло и вылезть из раскачивающейся кади.

– Восемь пудов до обеда тянет, а пихтерь сена съест, так и гирь неостанет, – опять объяснил красивый молодец и, повернув кадь, выбросил кухарку на сложенное в угле кулье.

Баба, шутливо ругаясь, начала оправляться.

– Ну-ка, а сколько во мне будет? – пошутила Катерина Львовна и, взявшись за веревки, стала на доску.

– Три пуда семь фунтов, – отвечал тот же красивый молодец Сергей, бросив гирь на весовую скайму. – Диковина!

– Чему же ты дивуешься?

– Да что три пуда в вас потянуло, Катерина Ильвовна. Вас, я так рассуждаю, целый день на руках носить надо – и то не утомишься, а только за удовольствие это будешь для себя чувствовать.

– Что ж я, не человек, что ли? Небось тоже устанешь, – ответила, слегка краснея, отвыкшая от таких речей Катерина Львовна, чувствуя внезапный прилив желания разболтаться и наговориться словами веселыми и шутливыми.

– Ни Боже мой! В Аравию счастливую занес бы, – отвечал ей Сергей на ее замечание.

– Не так ты, молодец, рассуждаешь, – говорил ссыпавший мужичок. – Что есть такое в нас тяжесть? Разве тело наше тянет? тело наше, милый человек, на весу ничего не значит: сила наша, сила тянет – не тело!

– Да, я в девках страсть сильна была, – сказала, опять не утерпев, Катерина Львовна. – Меня даже мужчина не всякий одолевал.

– А ну-с, позвольте ручку, если как это правда, – попросил красивый молодец.

Катерина Львовна смутилась, но протянула руку.

– Ой, пусти кольцо: больно! – вскрикнула Катерина Львовна, когда Сергей сжал в своей руке ее руку, и свободною рукою толкнула его в грудь.

Молодец выпустил хозяйкину руку и от ее толчка отлетел на два шага в сторону.

– Н-да, вот ты и рассуждай, что женщина, – удивился мужичок.

– Нет, а вы позвольте так взяться, наборки, – относился, раскидывая кудри, Серега.

– Ну, берись, – ответила, развеселившись, Катерина Львовна и приподняла кверху свои локоточки.

Сергей обнял молодую хозяйку и прижал ее твердую грудь к своей красной рубашке. Катерина Львовна только было шевельнула плечами, а Сергей приподнял ее от полу, подержал на руках, сжал и посадил тихонько на опрокинутую мерку.

Катерина Львовна не успела даже распорядиться своей хваленою силою. Красная-рас-красная, поправила она, сидя на мерке, свалившуюся с плеча шубку и тихо пошла из амбара, а Сергей молодецки кашлянул и крикнул:

– Ну вы, олухи Царя Небесного! Сыпь, не зевай, гребля не замай; будут вершки, наши лишки.

Будто как он и внимания не обратил на то, что сейчас было.

– Девичур этот проклятый Сережка! – рассказывала, плетясь за Катериной Львовной, кухарка Акси́нья. – Всем вор взял – что ростом, что лицом, что красотой, и улестит, и до греха доведет. А что уж непостоянный, подлец, пренепостоянный-непостоянный!

– А ты, Акси́нья... того, – говорила, идучи впереди ее, молодая хозяйка, – мальчик-то твой у тебя жив?

– Жив, матушка, жив – что ему! Где они не нужны-то кому, у тех они ведь живущи.

– И откуда это он у тебя?

– И-и! так, гулевой – на народе ведь живешь-то, – гулевой.

– Давно он у нас, этот молодец?

– Кто это? Сергей-то, что ли?

– Да.

– С месяц будет. У Копчиновых допреж служил, так прогнал его хозяин. – Акси́нья понизила голос и досказала: – Сказывают, с самой хозяйкой в любви был... Ведь вот, треанатемская его душа, какой смелый!

### Глава III

Теплые молочные сумерки стояли над городом. Зиновий Борисыч еще не возвращался с попрудки. Свекра Бориса Тимофеича тоже не было дома: поехал к старому приятелю на именины, даже и к ужину заказал себя не дожидаться. Катерина Львовна от нечего делать рано повечерила, открыла у себя на вышке окошечко и, прислонясь к косяку, шелушила подсолнечные зернышки. Люди в кухне поужинали и расходились по двору спать: кто под сараи, кто к амбарам, кто на высокие душистые сеновалы. Позже всех вышел из кухни Сергей. Он походил по двору, спустил цепных собак, посвистал и, проходя мимо окна Катерины Львовны, поглядел на нее и низко ей поклонился.

– Здравствуй, – тихо сказала ему с своей вышки Катерина Львовна, и двор смолк, словно пустыня.

– Сударыня! – произнес кто-то через две минуты у запертой двери Катерины Львовны.

– Кто это? – испугавшись, спросила Катерина Львовна.

– Не извольте пугаться: это я, Сергей, – отвечал приказчик.

– Что тебе, Сергей, нужно?

– Дельце к вам, Катерина Ильвовна, имею: просить вашу милость об одной малости желаю; позвольте взойти на минуточку.

Катерина Львовна повернула ключ и впустила Сергея.

– Что тебе? – спросила она, сама отходя к окошку.

– Пришел к вам, Катерина Ильвовна, попросить, нет ли у вас какой-нибудь книжечки почитать. Скука очень одолевает.

– У меня, Сергей, нет никаких книжек: не читаю я их, – отвечала Катерина Львовна.

– Такая скука, – жаловался Сергей.

– Чего тебе скучать!

– Помилуйте, как не скучать: человек я молодой, живем мы словно как в монастыре каком, а вперед видишь только то, что, может быть, до гробовой доски должен пропадать в таком одиночестве. Даже отчаянье иногда приходит.

– Чего ж ты не женишься?

– Легко сказать, сударыня, жениться! На ком тут жениться? Человек я незначительный; хозяйская дочь за меня не пойдет, а по бедности все у нас, Катерина Ильвовна, вы сами изволите знать, необразованность. Разве оне могут что об любви понимать как следует! Вот изволите видеть, какое ихнее и у богатых-то понятие. Вот вы, можно сказать, каждому другому человеку, который себя чувствует, в утешение бы только для него были, а вы у них как канарейка в клетке содержитесь.

– Да, мне скучно, – сорвалось у Катерины Львовны.

– Как не скучать, сударыня, в эдакой жизни! Хоша бы даже и предмет какой у вас был со стороны, так, как другие прочие делают, так вам и видеться с ним даже невозможно.

– Ну это ты... не то совсем. Мне вот, когда б я себе ребеночка бы родила, вот бы с ним, кажется, и весело стало.

– Да ведь это, позвольте вам доложить, сударыня, ведь и ребенок тоже от чего-нибудь тоже бывает, а не так же. Нешто теперь, по хозяевам столько лет живши и на эдакую женскую жизнь по купечеству гляючи, мы тоже не понимаем? Песня поется: «без мила дружка обуяла грусть-тоска», и эта тоска, доложу вам, Катерина Ильвовна, собственному моему сердцу столь, могу сказать, чувствительна, что вот взял бы я его вырезал булатным ножом из моей груди и бросил бы к вашим ножкам. И легче, сто раз легче бы мне тогда было...

У Сергея задрожал голос.

– Что это ты мне тут про свое сердце сказываешь? Мне это ни к чему. Иди ты себе...



– Нет, позвольте, сударыня, – произнес Сергей, трепеща всем телом и делая шаг к Катерине Львовне. – Знаю я, вижу и очень даже чувствую и понимаю, что и вам не легче моего на свете; ну только теперь, – произнес он одним придыханием, – теперь все это состоит в эту минуту в ваших руках и в вашей власти.

– Ты чего? чего? Чего ты пришел ко мне? Я за окно брошусь, – говорила Катерина Львовна, чувствуя себя под несносной властью неопишуемого страха, и схватилась рукою за подоконницу.

– Жизнь ты моя несравненная! на что тебе бросаться? – развязно прошептал Сергей и, оторвав молодую хозяйку от окна, крепко ее обнял.

– Ох! ох! пусти, – тихо стонала Катерина Львовна, слабея под горячими поцелуями Сергея, а сама мимовольно прижималась к его могучей фигуре.

Сергей поднял хозяйку, как ребенка, на руки и унес ее в темный угол.

В комнате наступило безмолвие, нарушавшееся только мерным тиканьем висевших над изголовьем кровати Катерины Львовны карманных часов ее мужа; но это ничему не мешало.

– Иди, – говорила Катерина Львовна через полчаса, не смотря на Сергея и поправляя перед маленьким зеркальцем свои разбросанные волосы.

– Чего я таперича отсюдова пойду, – отвечал ей счастливым голосом Сергей.

– Свекор двери запрет.

– Эх, душа, душа! Да каких ты это людей знала, что им только дверью к женщине и дорога? Мне что к тебе, что от тебя – везде двери, – отвечал молодец, указывая на столбы, поддерживающие галерею.

## Глава IV

Зиновий Борисыч еще неделю не бывал дома, и всю эту неделю жена его, что ночь, до самого бела света гуляла с Сергеем.

Много было в эти ночи в спальне Зиновия Борисыча и винца из свекрового погреба попито, и сладких сластей поедено, и в сахарные хозяйкины уста поцеловано, и черными кудрями на мягком изголовье поиграно. Но не все дорога идет скатертью, бывают и перебоинки.

Не спалось Борису Тимофеичу: блуждал старик в пестрой ситцевой рубашке по тихому дому, подошел к одному окну, подошел к другому, смотрит, а по столбу из-под невесткина окна тихо-тихохонько спускается книзу красная рубаха молодца Сергея. Вот тебе и новость! Выскочил Борис Тимофеич и хватить молодца за ноги. Тот развернулся было, чтоб съездить хозяина от всего сердца по уху, да и остановился, рассудив, что шум выйдет.

– Сказывай, – говорит Борис Тимофеич, – где был, вор ты эдакой?

– А где был, – говорит, – там меня, Борис Тимофеич, сударь, уж нету, – отвечал Сергей.

– У невестки ночевал?

– Про то, хозяин, опять-таки я знаю, где ночевал; а ты вот что, Борис Тимофеич, ты моего слова послушай: что, отец, было, того назад не воротишь; не клади ж ты по крайности позору на свой купеческий дом. Сказывай, чего ты от меня теперь хочешь? Какого уболагодворения желаешь?

– Желаю я тебе, аспиду, пятьсот плетей закатить, – отвечал Борис Тимофеич.

– Моя вина – твоя воля, – согласился молодец. – Говори, куда идти за тобой, и тешься, пей мою кровь.

Повел Борис Тимофеич Сергея в свою каменную кладовеньку, и стегал он его нагайкою, пока сам из сил выбился. Сергей ни стопа не подал, но зато половину рукава у своей рубашки зубами изъел.

Бросил Борис Тимофеич Сергея в кладовой, пока взбитая в чугуна спина заживет; сунул он ему глиняный кувшин водицы, запел его большим замком и послал за сыном.

Но за сто верст на Руси по проселочным дорогам еще и теперь не скоро ездят, а Катерине Львовне без Сергея и час лишний пережить уже невоготу стало. Развернулась она вдруг во всю ширь своей проснувшейся натуры и такая стала решительная, что и унять ее нельзя. Проведала она, где Сергей, поговорила с ним через железную дверь и кинулась ключей искать. «Пусти, тятенька, Сергея», – пришла она к свекру.

Старик так и позеленел. Он никак не ожидал такой наглой дерзости от согрешившей, но всегда до сих пор покорной невестки.

– Что ты это, такая-сякая, – начал он срамить Катерину Львовну.

– Пусти, – говорит, – я тебе совестью заручаюсь, что еще худого промеж нас ничего не было.

– Худого, – говорит, – не было! – а сам зубами так и скрипит. – А чем вы там с ним по ночам занимались? Подушки мужнины перебивали?

А та все с своим пристаёт: пусти его да пусти.

– А коли так, – говорит Борис Тимофеич, – так вот же тебе: муж приедет, мы тебя, честную жену, своими руками на конюшне выдерем, а его, подлеца, я завтра же в острог отправлю.

Тем Борис Тимофеич и порешил; но только это решение его не состоялось.

## Глава V

Поел Борис Тимофеич на ночь грибков с кашицей, и началась у него изжога; вдруг схватило его под ложечкой; рвоты страшные поднялись, и к утру он умер, и как раз так, как умирали у него в амбарах крысы, для которых Катерина Львовна всегда своими собственными руками готовила особое кушанье с порученным ее хранению опасным белым порошком.

Выручила Катерина Львовна своего Сергея из старицкой каменной кладовой и без всякого зазора от людских очей уложила его отдыхать от свекровых побоев на мужниной постели; а свекра, Бориса Тимофеича, ничтоже сумняся, схоронили по закону христианскому. Дивным делом никому и невдомек ничего стало: умер Борис Тимофеич, да и умер, поевши грибков, как многие, поевши их, умирают. Схоронили Бориса Тимофеича спешно, даже и сына не дождавшись, потому что время стояло на дворе теплое, а Зиновия Борисыча посланный не застал на мельнице. Тому лес случайно как-то дешево попался еще верст за сто: посмотреть его поехал и никому путем не объяснил, куда поехал.

Справившись с этим делом, Катерина Львовна уж совсем разошлась. То она была баба неробкого десятка, а тут и нельзя было разгадать, что такое она себе задумала; ходит козырем, всем по дому распоряжается, а Сергея так от себя и не отпускает. Задивились было этому по двору, да Катерина Львовна всякого сумела найти своей щедрой рукой, и все это дивованье вдруг сразу прошло. «Зашла, – смекали, – у хозяйки с Сергеем алигория, да и только. – Ее, мол, это дело, ее и ответ будет».

А тем временем Сергей выздоровел, разогнулся и опять молодец молодцом, живым крепотом заходил около Катерины Львовны, и опять пошло у них снова житье разлюбезное. Но время катилось не для них одних: спешил домой из долгой отлучки и обиженный муж Зиновий Борисыч.

## Глава VI

На дворе после обеда стоял пеклый жар, и проворная муха несносно докучала. Катерина Львовна закрыла окно в спальне ставнями и еще шерстяным платком его изнутри завесила, да и легла с Сергеем отдохнуть на высокой купеческой постели. Спит и не спит Катерина Львовна, а только так ее и смаривает, так лицо потом и обливается, и дышится ей таково горячо и тягостно. Чувствует Катерина Львовна, что пора ей и проснуться; пора идти в сад чай пить, а встать никак не может. Наконец кухарка подошла и в дверь постучала: «Самовар, – говорит, – под яблонью гложет». Катерина Львовна насилу прокинулась и ну кота ласкать. А кот промежду ее с Сергеем трется, такой славный, серый, рослый да претолстый-толстый... и усы как у оброчного бурмистра. Катерина Львовна заворошилась в его пушистой шерсти, а он так к ней с рылом и лезет: тычется тупой мордой в упругую грудь, а сам такую тихонькую песню поет, будто ею про любовь рассказывает. «И чего еще сюда этот котище зашел? – думает Катерина Львовна. – Сливки тут-то я на окне поставила: беспременно он, подлый, у меня их вылопает. Выгнать его», – решила она и хотела схватить кота и выбросить, а он, как туман, так мимо пальцев у нее и проходит. «Однако откуда же этот кот у нас взялся? – рассуждает в кошмаре Катерина Львовна. – Никогда у нас в спальне никакого кота не было, а тут ишь какой забрался!» Хотела она опять кота рукой взять, а его опять нет. «О, да что ж это такое? Уж это, полно, кот ли?», – подумала Катерина Львовна. Оторопь ее вдруг взяла и сон и дрему совсем от нее прогнала. Оглянулась Катерина Львовна по горнице – никакого кота нет, лежит только красивый Сергей и своей могучей рукой ее грудь к своему горячему лицу прижимает.

Встала Катерина Львовна, села на постель, целовала, целовала Сергея, миловала, миловала его, поправила измятую перину и пошла в сад чай пить; а солнце уже совсем свалило, и на горячо прогретую землю спускается чудный, волшебный вечер.

– Заспалась я, – говорила Аксины Катерина Львовна и уселась на ковре под цветущей яблонью чай пить. – И что это такое, Аксинышка, значит? – пыталась она кухарку, вытирая сама чайным полотенцем блюдечко.

– Что, матушка?

– Не то что во сне, а вот совсем наяву кот ко мне все какой-то лез.

– И, что ты это?

– Право, кот лез.

Катерина Львовна рассказала, как к ней лез кот. – И зачем тебе его было ласкать? – Ну вот поди ж! сама не знаю, зачем я его ласкала.

– Чудно, право! – восклицала кухарка.

– Я и сама надивиться не могу.

– Это беспременно вроде как к тебе кто-нибудь прибьется, что ли, либо еще что-нибудь такое выйдет.

– Да что ж такое именно?

– Ну *именно что* – уж этого тебе никто, милый друг, объяснить не может, что именно, а только что-нибудь да будет.

– Месяц все во сне видела, а потом этот кот, – продолжала Катерина Львовна.

– Месяц – это младенец.

Катерина Львовна покраснела.

– Не спослать ли сюда к твоей милости Сергея? – попытала ее напрашивающаяся в наперстницы Аксины.

– Ну что ж, – отвечала Катерина Львовна, – и то правда, поди пошли его: я его чаем тут напою.

– То-то, я говорю, что послать его, – порешила Акси́нья и закачалась уткой к садовой калитке.

Катерина Львовна и Серге́ю про кота рассказала.

– Мечтанье одно, – отвечал Серге́й.

– С чего ж его, этого мечтанья, прежде, Сережа, никогда не было?

– Мало чего прежде не бывало! бывало, вон я на тебя только глазком гляжу да сохну, а нонче вона! Всем твоим белым телом владею.

Серге́й обнял Катерину Львовну, перекружил на воздухе и, шутя, бросил ее на пушистый ковер.

– Ух, голова закружилась, – заговорила Катерина Львовна. – Сережа! поди-ка сюда; сядь тут возле, – позвала она, нежась и потягиваясь в роскошной позе.

Молодец, нагнувшись, вошел под низкую яблонь, залитую белыми цветами, и сел на ковре в ногах у Катерины Львовны.

– А ты сох же по мне, Сережа?

– Как же не сох.

– Как же ты сох? Расскажи мне про это.

– Да как про это расскажешь? Разве можно про это изъяснить, как сохнешь? Тосковал.

– Отчего ж я этого, Сережа, не чувствовала, что ты по мне убиваешься? Это ведь, говорят, чувствуют.

Серге́й промолчал.

– А ты для чего песни пел, если тебе по мне скучно было? что? Я ведь небось слыхала, как ты на галдарее пел, – продолжала спрашивать, ласкаясь, Катерина Львовна.

– Что ж что песни пел? Комар вон и весь свой век поет, да ведь не с радости, – отвечал сухо Серге́й.

Вышла пауза. Катерина Львовна была полна высочайшего восторга от этих признаний Серге́я.

Ей хотелось говорить, а Серге́й супился и молчал.

– Посмотри, Сережа, рай-то, рай-то какой! – воскликнула Катерина Львовна, смотря сквозь покрывающие ее густые ветви цветущей яблони на чистое голубое небо, на котором стоял полный погожий месяц.

Лунный свет, пробиваясь сквозь листья и цветы яблони, самыми причудливыми, светлыми пятнышками разбегался по лицу и всей фигуре лежавшей навзничь Катерины Львовны; в воздухе стояло тихо; только легонький теплый ветерочек чуть пошевеливал сонные листья и разносил тонкий аромат цветущих трав и деревьев. Дышалось чем-то томящим, располагающим к лени, к неге и к темным желаниям.

Катерина Львовна, не получая ответа, опять замолчала и все смотрела сквозь бледно-розовые цветы яблони на небо. Серге́й тоже молчал; только его не занимало небо. Обхватив обеими руками свои колени, он сосредоточенно глядел на свои сапожки.

Золотая ночь! Тишина, свет, аромат и благотворная, оживляющая теплота. Далеко за оврагом, позади сада, кто-то завел звучную песню; под забором в густом черемушнике щелкнул и громко заколотил соловей; в клетке на высоком шесте забредил сонный перепел, и жирная лошадь томно вздохнула за стенкой конюшни, а по выгону за садовым забором пронеслась без всякого шума веселая стая собак и исчезла в безобразной, черной тени полуразвалившихся, старых соляных магазинов.

Катерина Львовна приподнялась на локоть и глянула на высокую садовую траву; а трава так и играет с лунным блеском, дробящимся о цветы и листья деревьев. Всю ее позолотили эти прихотливые, светлые пятнышки и так на ней и мелькают, так и трепещутся, словно живые огненные бабочки, или как будто вот вся трава под деревьями взялась лунной сеткой и ходит из стороны в сторону.

– Ах, Сережечка, прелесть-то какая! – воскликнула, оглядевшись, Катерина Львовна. Сергей равнодушно повел глазами.

– Что ты это, Сережа, такой нерадостный? Или уж тебе и любовь моя прискучила?

– Что пустое говорить! – отвечал сухо Сергей и, нагнувшись, лениво поцеловал Катерину Львовну.

– Изменщик ты, Сережа, – ревновала Катерина Львовна, – необстоятельный.

– Я даже этих и слов на свой счет не принимаю, – отвечал спокойным тоном Сергей.

– Что ж ты меня так целуешь?

Сергей совсем промолчал.

– Это только мужья с женами, – продолжала, играя его кудрями, Катерина Львовна, – так друг дружке с губ пыль обивают. Ты меня так целуй, чтоб вот с этой яблони, что над нами, молодой цвет на землю посыпался. Вот так, вот, – шептала Катерина Львовна, обвиваясь около любовника и целуя его с страстным увлечением.

– Слушай, Сережа, что я тебе скажу, – начала Катерина Львовна спустя малое время, – с чего это все в одно слово про тебя говорят, что ты изменщик?

– Кому ж это про меня брехать охота?

– Ну уж говорят люди.

– Может быть, когда и изменял тем, какие совсем нестоящие.

– А на что, дурак, с нестоящими связывался? с нестоящею не надо и любви иметь.

– Говори ж ты! Неш это дело тоже как по рассуждению делается? Один соблазн действует. Ты с нею совсем просто, без всяких этих намерений заповедь свою преступил, а она уж и на шею тебе вешается. Вот и любовь!

– Слушай же, Сережа! я там, как другие прочие были, ничего этого не знаю, да и знать про это не хочу; ну а только как ты меня на эту теперешнюю нашу любовь сам улещал и сам знаешь, что сколько я пошла на нее своею охотою, сколько ж и твоей хитростью, так ежели ты, Сережа, мне да изменишь, ежели меня да на кого да нибудь, на какую ни на есть иную променяешь, я с тобою, друг мой сердечный, извини меня, – живая не расстанусь.



Сергей восторжен.

– Да ведь, Катерина Ильвовна! свет ты мой ясный! – заговорил он. – Ты сама посмотри, какое наше с тобою дело. Ты вон как теперь замечаешь, что я задумчив нонче, а не рассудишь ты того, как мне и задумчивым не быть. У меня, может, все сердце мое в запеченной крови затонуло!

– Говори, говори, Сережа, свое горе.

– Да что тут и говорить! Вот сейчас, вот первое дело, благослови Господи, муж твой наденет, а ты, Сергей Филипыч, и ступай прочь, отправляйся на задний двор к музыкантам и смотри из-под сарая, как у Катерины Ильвовны в спальне свеченька горит, да как она пуховую постельку перебивает, да с своим законным Зиновием с Борисычем опочивать укладывается.

– Этого не будет! – весело протянула Катерина Львовна и махнула ручкой.

– Как так этого не будет! А я так понимаю, что совсем даже без этого вам невозможно. А я тоже, Катерина Ильвовна, свое сердце имею и могу свои муки видеть.

– Да ну, полно тебе все об этом.

Катерине Львовне было приятно это выражение Сергеевой ревности, и она, рассмеявшись, опять взялась за свои поцелуи.

– А повторительно, – продолжал Сергей, тихонько высвобождая свою голову из голых по плечи рук Катерины Львовны, – повторительно надо сказать и то, что состояние мое самое ничтожное тоже заставляет, может, не раз и не десять раз рассудить и так и иначе. Будь я, так скажу, равный вам, будь я какой барин или купец, я бы то есть с вами, Катерина Ильвовна, и ни в жизнь мою не расстался. Ну, а так сами вы посудите, что я за человек при вас есть? Видючи теперь, как возьмут вас за белые ручки и поведут в опочивальню, должен я все это переносить в моем сердце и, может, даже сам для себя чрез то на целый век презренным человеком сделаться. Катерина Ильвовна! Я ведь не как другие прочие, для которого все равно, абы ему от женщины только радость получить. Я чувствую, какова есть любовь и как она черной змеею сосет мое сердце...

– Что ты это мне все про такое толкуешь? – перебила его Катерина Львовна.

Ей стало жаль Сергея.

– Катерина Ильвовна! Как про это не толковать-то? Как не толковать-то? Когда, может, все уж им объяснено и расписано, когда, может, не только что в каком-нибудь долгом расстоянии, а даже самого завтрашнего числа Сергея здесь ни духу ни паху на этом дворе не останется?

– Нет, нет, и не говори про это, Сережа! Этого ни за что не будет, чтоб я без тебя осталась, – успокаивала его все с теми же ласками Катерина Львовна. – Если только пойдет на что дело... либо ему, либо мне не жить, а уж ты со мной будешь.

– Никак этого не может, Катерина Ильвовна, последовать, – отвечал Сергей, печально и грустно качая своею головою. – Я жизни моей не рад сам за этой любовью. Любил бы то, что не больше самого меня стоит, тем бы и доволен был. Вас ли мне с собою в постоянной любви иметь? Нешто это вам почет какой – полюбовницей быть? Я б хотел пред святым предвечным храмом мужем вам быть: так тогда я, хоть завсегда млаже себя перед вами считая, все-таки мог бы по крайности публично всем обличить, сколь я у своей жены почтением своим к ней заслуживаю...

Катерина Львовна была отуманена этими словами Сергея, этою его ревностью, этим его желанием жениться на ней – желанием, всегда приятным женщине, несмотря на самую короткую связь ее с человеком до женитьбы. Катерина Львовна теперь готова была за Сергея в огонь, в воду, в темницу и на крест. Он влюбил ее в себя до того, что меры ее преданности ему не было никакой. Она обезумела от своего счастья; кровь ее кипела, и она не могла более ничего слушать. Она быстро зажала ладонью Сергеевы губы и, прижав к груди своей его голову, заговорила:

– Ну, уж я знаю, как я тебя и купцом сделаю и жить с тобой совсем как следует стану. Ты только не печаль меня попусту, пока еще дело наше не пришло до нас.

И опять пошли поцелуи да ласки.

Старому приказчику, спавшему в сарае, сквозь крепкий сон стал слышаться в ночной тишине то шепот с тихим смехом, будто где шаловливые дети советуются, как злее над хилою старостью посмеяться; то хохот звонкий и веселый, словно кого озерные русалки щекочут. Все это, плескаясь в лунном свете да покатываясь по мягкому ковру, резвилась и играла Катерина Львовна с молодым мужниным приказчиком. Сыпался, сыпался на них молодой белый цвет с кудрявой яблонки, да уж и перестал сыпаться. А тем временем короткая летняя ночь проходила, луна спряталась за крутую крышу высоких амбаров и глядела на землю искоса, тусклее и тусклее; с кухонной крыши раздался пронзительный кошачий дуэт; потом послышались пле-



вок, сердитое фыркание, и вслед за тем два или три кота, оборвавшись, с шумом покатились по приставленному к крыше пуку теса.

– Пойдем спать, – сказала Катерина Львовна медленно, словно разбитая, приподнимаясь с ковра, и как лежала в одной рубашке да в белых юбках, так и пошла по тихому, до мертвенности тихому купеческому двору, а Сергей понес за нею коверчик и блузу, которую она, расшалившись, сбросила.

## Глава VII

Только Катерина Львовна задула свечу и совсем раздетая улеглась на мягкий пуховик, сон так и окутал ее голову. Заснула Катерина Львовна, наигравшись и натешившись, так крепко, что и нога ее спит и рука спит; но опять слышит она сквозь сон, будто опять дверь отворилась и на постель тяжелым осметком упал давишний кот.

«Да что же это в самом деле за наказание с этим котом? – рассуждает усталая Катерина Львовна. – Дверь теперь уж нарочно я сама, своими руками на ключ заперла, окно закрыто, а он опять тут. Сейчас его выкину», – собиралась встать Катерина Львовна, да сонные руки и ноги ее не служат ей; а кот ходит по всей по ней и таково-то мудрено курнычит, опять будто слова человеческие выговаривает. По Катерине Львовне по всей даже мурашки стали бегать.

«Нет, – думает она, – больше ничего, как непременно завтра надо богоявленской воды взять на кровать, потому что премудренный какой-то этот кот ко мне повадился».

А кот курны-мурны у нее над ухом, уткнулся мордою да и выговаривает:

«Какой же, – говорит, – я кот! С какой стати! Ты это очень умно, Катерина Львовна, рассуждаешь, что совсем я не кот, а я именитый купец Борис Тимофеич. Я только тем теперь плох стал, что у меня все мои кишечки внутри потрескались от невестушкиного от угощения. С того, – мурлычит, – я весь вот и поубавился и котом теперь показываюсь тому, кто мало обо мне разумеет, что я такое есть в самом деле. Ну, как же нонче ты у нас живешь-можешь, Катерина Львовна? Как свой закон верно соблюдаешь? Я и с кладбища нарочно пришел поглядеть, как вы с Сергеем Филипычем мужнину постельку согреваете. Курны-мурны, я ведь ничего не вижу. Ты меня не бойся: у меня, видишь, от твоего угощения и глазки повылезли. Глянь мне в глаза-то, дружок, не бойся!»

Катерина Львовна глянула и закричала благим матом. Между ней и Сергеем опять лежит кот, а голова у того кота Бориса Тимофеича во всю величину, как была у покойника, и вместо глаз по огненному кружку в разные стороны так и вертится, так и вертится!

Проснулся Сергей, успокоил Катерину Львовну и опять заснул; но у нее весь сон прошел – и к стати.

Лежит она с открытыми глазами и вдруг слышит, что на двор будто кто-то через ворота перелез. Вот и собаки метнулись было, да и стихли, – должно быть, ласкаться стали. Вот и еще прошла минута, и железная клямка внизу щелкнула, и дверь отворилась. «Либо мне все это слышится, либо это мой Зиновий Борисыч вернулся, потому что дверь его запасным ключом отперта», – подумала Катерина Львовна и торопливо толкнула Сергея.

– Слушай, Сережа, – сказала она и сама приподнялась на локоть и насторожила ухо.

По лестнице тихо, с ноги на ногу осторожно переступаячи, действительно кто-то приближался к запертой двери спальни.

Катерина Львовна быстро спрыгнула в одной рубашке с постели и открыла окошко. Сергей в ту же минуту босиком выпрыгнул на галерею и обхватил ногами столб, по которому не первый раз спускался из хозяйкиной спальни.

– Нет, не надо, не надо! Ты приляг тут... не отходи далеко, – прошептала Катерина Львовна и выкинула Сергею за окно его обувь и одежду, а сама опять юркнула под одеяло и дожидается.

Сергей послушался Катерины Львовны: он не шмыгнул по столбу вниз, а приютился под лубком на галереечке.

Катерина Львовна тем временем слышит, как муж подошел к двери и, утаивая дыхание, слушает. Ей даже слышно, как учащенно стучает его ревнивое сердце; но не жалость, а злой смех разбирает Катерину Львовну.

«Ищи вчерашнего дня», – думает она себе, улыбаясь и дыша непорочным младенцем.

Это продолжалось минут десять; но, наконец, Зиновию Борисычу надоело стоять за дверью да слушать, как жена спит: он постучался.

– Кто там? – не совсем скоро и будто как сонным голосом окликнула Катерина Львовна.

– Свои, – отозвался Зиновий Борисыч.

– Это ты, Зиновий Борисыч?

– Ну я! Будто ты не слышишь!

Катерина Львовна вскочила как лежала в одной рубашке, впустила мужа в горницу и опять нырнула в теплую постель.

– Чтой-то перед зарей холодно становится, – произнесла она, укутываясь одеялом.

Зиновий Борисыч взошел озираясь, помолился, зажег свечу и еще огляделся.

– Как живешь-можешь? – спросил он супругу.

– Ничего, – отвечала Катерина Львовна и, привставая, начала надевать распашную ситцевую блузу.

– Самовар небось поставить? – спросила она.

– Ничего, вскричите Аксиною, пусть поставит.

Катерина Львовна нахватила на босу ногу башмачки и выбежала. С полчаса ее назад не было. В это время она сама раздула самоварчик и тихонько запорхнула к Сергею на галерейку.

– Сиди тут, – шепнула она.

– Докуда же сидеть? – также шепотом спросил Сережа.

– О, да какой же ты бестолковый! Сиди, докуда я скажу.

И Катерина Львовна сама посадила его на старое место.

А Сергею отсюда с галереи все слышно, что в спальне происходит. Он слышит опять, как стукнула дверь и Катерина Львовна снова вошла к мужу. Все от слова до слова слышно.

– Что ты там возилась долго? – спрашивает жену Зиновий Борисыч.

– Самовар ставила, – отвечает она спокойно. Вышла пауза. Сергею слышно, как Зиновий Борисыч вешает на вешалку свой сюртук. Вот он умывается, фыркает и брызжет во все стороны водою; вот спросил полотенце; опять начинаются речи.

– Ну как же это вы тятеньку схоронили? – осведомляется муж.

– Так, – говорит жена, – они померли, их и схоронили.

– И что это за удивительность такая!

– Бог его знает, – отвечала Катерина Львовна и застучала чашками.

Зиновий Борисыч грустный ходил по комнате.

– Ну, а вы тут как свое время проводжали? – расспрашивает опять жену Зиновий Борисыч.

– Наши радости-то, чай, всякому известны: по балам не ездим и по театрам столько ж.

– А словно радости-то у вас и к мужу немного, – искоса поглядывая, заводил Зиновий Борисыч.

– Не молоденькие тоже мы с вами, чтоб так без ума без разума нам встречаться. Как еще радоваться? Я вот хлопочу, бегаю для вашего удовольствия.

Катерина Львовна опять выбежала самовар взять и опять заскочила к Сергею, дернула его и говорит:

«Не зевай, Сережа!»

Сергей путем не знал, к чему все это будет, но, однако, стал наготове.

Вернулась Катерина Львовна, а Зиновий Борисыч стоит коленями на постели и вешает на стенку над изголовьем свои серебряные часы с бисерным снурочком.

– Для чего это вы, Катерина Львовна, в одиноком положении постель надвое разостлали? – как-то мудрено вдруг спросил он жену.

– А все вас дожидала, – спокойно глядя на него, ответила Катерина Львовна.

– И на том благодарим вас покорно... А вот этот предмет теперь откуда у вас на перинке взялся?

Зиновий Борисыч поднял с простыни маленький шерстяной поясочек Сергея и держал его за кончик перед жениными глазами.

Катерина Львовна нимало не задумалась.

– В саду, – говорит, – нашла да юбку себе подвязала.

– Да! – произнес с особым ударением Зиновий Борисыч, – мы тоже про ваши про юбки кое-что слышали.

– Что ж это вы слышали?

– Да все про дела ваши про хорошие.

– Никаких моих дел таких нету.

– Ну это мы разберем, все разберем, – отвечал, подвигая жене выпитую чашку, Зиновий Борисыч.

Катерина Львовна промолчала.

– Мы эти ваши дела, Катерина Львовна, все вьявь произведем, – проговорил еще после долгой паузы Зиновий Борисыч, поведя на свою жену бровями.

– Не больно-то ваша Катерина Львовна пужлива. Не так очень она этого пужается, – ответила та.

– Что! что! – повыся голос, окрикнул Зиновий Борисыч.

– Ничего – проехали, – отвечала жена.

– Ну, ты гляди у меня того! Что-то ты больно речиста здесь стала!

– А с чего мне и речистой не быть? – отозвалась Катерина Львовна.

– Больше бы за собой смотрела.

– Нечего мне за собой смотреть. Мало кто вам длинным языком чего наязычит, а я должна над собой всякие наругательства сносить! Вот еще новости тоже!

– Не длинные языки, а тут верно про ваши амуры-то известно.

– Про какие-такие мои амуры? – крикнула, непритворно вспыхнув, Катерина Львовна.

– Знаю я, про какие.

– А знаете, так что ж: вы яснее сказывайте!

Зиновий Борисыч промолчал и опять подвинул жене пустую чашку.

– Видно, и говорить-то не про что, – отозвалась с презрением Катерина Львовна, азартно бросив на блюде мужу чайную ложечку. – Ну сказывайте, ну про кого вам доносили? Кто такой есть мой перед вами полюбовник?

– Узнаете, не спешите очень.

– Что вам про Сергея, что ли, что-нибудь набрехано?

– Узнаем-с, узнаем, Катерина Львовна. Нашей над вами власти никто не снимал и снять никто не может... Сами заговорите...

– И-их! терпеть я этого не могу, – скрипнув зубами, вскрикнула Катерина Львовна и, поблуднев как полотно, неожиданно выскочила за двери.

– Ну вот он, – произнесла она через несколько секунд, вводя в комнату за рукав Сергея, – Расспрашивайте и его и меня, что вы такое знаете. Может, что-нибудь еще и больше того узнаешь, что тебе хочется?

Зиновий Борисыч даже растерялся. Он глядел то на стоявшего у притолки Сергея, то на жену, спокойно присевшую со скрещенными руками на краю постели, и ничего не понимал, к чему это близится.

– Что ты это, змея, делаешь? – насилу собрался он выговорить, не поднимаясь с кресла.

– Расспрашивай, о чем так знаешь-то хорошо, – отвечала дерзко Катерина Львовна. – Ты меня бойлом задумал пужать, – продолжала она, значительно моргнув глазами, – так не

бывать же тому никогда; а что я, может, и допреж твоих этих обещаний знала, что над тобой сделать, так я то сделаю.

– Что это? вон! – крикнул Зиновий Борисыч на Сергея.

– Как же! – передразнила Катерина Львовна. Она проворно замкнула дверь, сунула ключ в карман и опять привалилась на постели в своей распашонке.

– Ну-ка, Сережечка, поди-ка, поди, голубчик, – поманила она к себе приказчика.

Сергей тряхнул кудрями и смело присел около хозяйки.

– Господи! Боже мой! Да что ж это такое? Что ж вы это, варвары?! – вскрикнул, весь побагровев и поднимаясь с кресла, Зиновий Борисыч.

– Что? Иль не любо? Глянь-ко, глянь, мой ясен сокол, каково прекрасно!

Катерина Львовна засмеялась и страстно поцеловала Сергея при муже.

В это же мгновение на щеке ее запылала оглушительная пощечина, и Зиновий Борисыч кинулся к открытому окошку.

## Глава VIII

– А... а, так-то!.. ну, приятель дорогой, благодарствуй. Я этого только и дожидалась! – вскрикнула Катерина Львовна. – Ну теперь видно уж... будь же по-моему, а не по-твоему...

Одним движением она отбросила от себя Сергея, быстро кинулась на мужа и, прежде чем Зиновий Борисыч успел доскочить до окна, схватила его сзади своими тонкими пальцами за горло и, как сырой конопляный сноп, бросила его на пол.



Тяжело гроыхнувшись и стукнувшись со всего размаху затылком об пол, Зиновий Борисыч совсем обезумел. Он никак не ожидал такой скорой развязки. Первое насилие, употребленное против него женою, показало ему, что она решилась на все, лишь бы только от него

избавиться, и что теперешнее его положение до крайности опасно. Зиновий Борисыч сообразил все это мигом в момент своего падения и не вскрикнул, зная, что голос его не достигнет ни до чьего уха, а только еще ускорит дело. Он молча повел глазами и остановил их с выражением злобы, упрека и страдания на жене, тонкие пальцы которой крепко сжимали его горло.

Зиновий Борисыч не защищался; руки его, с крепко стиснутыми кулаками, лежали вытянутыми и судорожно подергивались. Одна из них была вовсе свободна, другую Катерина Львовна придавила к полу коленом.

– Подержи его, – шепнула она равнодушно Сергею, сама поворачиваясь к мужу.

Сергей сел на хозяина, придавил обе его руки коленами и хотел перехватить под руками Катерины Львовны за горло, но в это же мгновение сам отчаянно вскрикнул. При виде своего обидчика кровавая месть приподняла в Зиновии Борисыче все последние его силы: он страшно рванулся, выдернул из-под Сергеевых колен свои придавленные руки и, вцепившись ими в черные кудри Сергея, как зверь, закусил зубами его горло. Но это было ненадолго: Зиновий Борисыч тотчас же тяжело застонал и уронил голову.

Катерина Львовна, бледная, почти не дыша вовсе, стояла над мужем и любовником; в ее правой руке был тяжелый литой подсвечник, который она держала за верхний конец, тяжелою частью книзу. По виску и щеке Зиновия Борисыча тоненьким шнурочком бежала алая кровь.

– Попа, – тупо простонал Зиновий Борисыч, с омерзением откидываясь головою как можно далее от сидящего на нем Сергея. – Исповедаться, – произнес он еще невнятное, задрожав и косясь на сгущающуюся под волосами теплую кровь.

– Хорош и так будешь, – прошептала Катерина Львовна.

– Ну полно с ним копать, – сказала она Сергею, – перехвати ему хорошенько горло.

Зиновий Борисыч захрипел.

Катерина Львовна нагнулась, сдавила своими руками Сергеевы руки, лежавшие на мужнином горле, и ухом прилегла к его груди. Через пять тихих минут она приподнялась и сказала: «Довольно, будет с него».

Сергей тоже встал и отдулся. Зиновий Борисыч лежал мертвый, с передавленным горлом и рассеченным виском. Под головой с левой стороны стояло небольшое пятнышко крови, которая, однако, более уже не лилась из запекшейся и завалявшейся волосами ранки.

Сергей снес Зиновия Борисыча в погребок, устроенный в подполье той же каменной кладовой, куда еще так недавно запирали самого его, Сергея, покойный Борис Тимофеич, и вернулся на вышку. В это время Катерина Львовна, засучив рукава распашонки и высоко подоткнув подол, тщательно замывала мочалкою с мылом кровавое пятно, оставленное Зиновием Борисычем на полу своей опочивальни. Вода еще не остыла в самоваре, из которого Зиновий Борисыч распаривал отравленным чаем свою хозяйскую душеньку, и пятно вымылось без всякого следа.

Катерина Львовна взяла медную полоскательную чашку и намыленную мочалку.

– Ну-ка, свети, – сказала она Сергею, идучи к двери. – Ниже, ниже свети, – говорила она, внимательно осматривая все половицы, по которым Сергей должен был тащить Зиновия Борисыча до самой ямы.

Только на двух местах на крашеном полу были два крошечные пятнышка величиною в вишню. Катерина Львовна потерла их мочалкою, и они исчезли.

– Вот тебе, не лазь к жене воров, не подкарауливай, – произнесла Катерина Львовна, распрямляясь и оглянувшись в сторону кладовой.

– Теперь шабаш, – сказал Сергей и вздрогнул от звука собственного голоса.

Когда они вернулись в спальню, тонкая румяная полоска зари прорезывалась на востоке и, золотя легонько одетые цветом яблони, заглядывала сквозь зеленые палки садовой решетки в комнату Катерины Львовны.

По двору, в накинута на плечи полушубке, крестясь и позевывая, плелся из сарая в кухню старый приказчик.

Катерина Львовна осторожно дернула ходившую на веревочке ставню и внимательно оглянула Сергея, как бы желая прозреть его душу.

– Ну вот ты теперь и купец, – сказала она, положив Сергею на плечи свои белые руки.

Сергей ничего ей не ответил.

Губы Сергея дрожали, и самого его била лихорадка. У Катерины Львовны только уста были холодны.

Через два дня у Сергея на руках явились большие мозоли от лома и тяжелого заступа; зато уж Зиновий Борисыч в своем погребке был так хорошо прибран, что без помощи его вдовы или ее любовника не отыскать бы его никому до общего воскресения.



## Глава IX

Сергей ходил, замотав горло пунсовым платком, и жаловался, что у него что-то завалило горло. Между тем, прежде чем у Сергея зажили метины, положенные зубами Зиновия Борисыча, мужа Катерины Львовны хватились. Сам Сергей еще чаще прочих начал про него поговаривать. Присядет вечером с молодцами на лавку около калитки и заведет: «Чтой-то, однако, исправи, ребята, нашего хозяина по сю пору нетути?»

Молодцы тоже дивуются.

А тут с мельницы пришло известие, что хозяин нанял коней и давно отъехал ко двору. Ямщик, который его возил, сказывал, что Зиновий Борисыч был будто в расстройстве и отпустил его как-то чудно: не доезжая до города версты с три, встал под монастырем с телеги, взял кису и пошел. Услыхав такой рассказ, и еще пуще все вздивовались.

Пропал Зиновий Борисыч, да и только.

Пошли розыски, но ничего не открывалось: купец как в воду канул. По показанию арестованного ямщика узнали только, что над рекою под монастырем купец встал и пошел. Дело не выяснилось, а тем временем Катерина Львовна поживала себе с Сергеем, по вдовьему положению, на свободе. Сочиняли наугад, что Зиновий Борисыч то там, то там, а Зиновий Борисыч все не возвращался, и Катерина Львовна лучше всех знала, что возвратиться ему никак невозможно.



Прошел так и месяц, и другой, и третий, и Катерина Львовна почувствовала себя в тягости.

– Наш капитал будет, Сережечка: есть у меня наследник, – сказала она и пошла жаловаться Думе, что так и так, она чувствует себя, что – беременна, а в делах застой начался: пусть ее ко всему допустят.

Не пропадать же коммерческому делу. Катерина Львовна жена своему мужу законная; долгов в виду нет, ну и следует, стало быть, допустить ее. И допустили.

Живет Катерина Львовна, царствует, и Серегу по ней уже Сергеем Филипычем стали звать; а тут хлоп, ни оттуда ни отсюда, новая напасть. Пишут из Ливен городскому голове, что Борис Тимофеич торговал не на весь свой капитал, что более, чем его собственных денег, у него в обороте было денег его малолетнего племянника, Федора Захарова Лямина, и что дело это надо разобрать и не давать в руки одной Катерине Львовне. Пришло это известие, поговорил

о нем голова Катерине Львовне, а эдак через неделю бац – из Ливен приезжает старушка с небольшим мальчиком.

– Я, – говорит, – покойному Борису Тимофеичу сестра двоюродная, а это – мой племянник Федор Лямин.

Катерина Львовна их приняла.

Сергей, наблюдая со двора этот приезд и прием, сделанный Катериною Львовною приездим, побледнел как плат.

– Чего ты? – спросила его хозяйка, заметив его мертвую бледность, когда он вошел вслед за приезжими и, разглядывая их, остановился в передней.

– Ничего, – отвечал, поворачиваясь из передней в сени, приказчик. – Думаю, сколь эти Ливны дивны, – договорил он со вздохом, затворяя за собой сеничную дверь.

– Ну, а как же теперь быть? – спрашивал Катерину Львовну Сергей Филипыч, сидя с нею ночью за самоваром. – Теперь, Катерина Ильвовна, выходит все наше с вами дело прах.

– Отчего так прах, Сережа?

– Потому что это все теперь в раздел пойдет. Над чем же тут над пустым делом будет хозяйничать?

– Неш с тебя, Сережа, мало будет?

– Да не о том, что с меня; а я в том только сумлеваюсь, что счастья уж того нам не будет.

– Как так? За что нам, Сережа, счастья не будет?

– Потому, как по любви моей к вам я желал бы, Катерина Ильвовна, видеть вас настоящей дамой, а не то что как вы допреж сего жили, – отвечал Сергей Филипыч. – А теперь наоборот того выходит, что при уменьшении капитала мы и даже против прежнего должны гораздо ниже еще произойти.

– Да неш мне это, Сережечка, нужно?

– Оно точно, Катерина Ильвовна, что вам, может быть, это и совсем не в интересе, ну только для меня, как я вас уважаю, и опять же супротив людских глаз, подлых и завистливых, ужасно это будет больно. Вам там как будет угодно, разумеется, а я так своим соображением располагаю, что никогда я через эти обстоятельства счастлив быть не могу.

И пошел и пошел Сергей играть Катерине Львовне на эту ноту, что стал он через Федю Лямина самым несчастным человеком, лишен будучи возможности возвеличить и отличить ее, Катерину Львовну, предо всем своим купечеством. Сводил это Сергей всякий раз на то, что не будь этого Феди, то родит она, Катерина Львовна, ребенка до девяти месяцев после пропажи мужа, достанется ей весь капитал и тогда счастью их конца-меры не будет.

## Глава X

А потом вдруг Сергей и перестал совсем говорить о наследнике. Как только прекратились о нем речи в устах Сергеевых, так засел Федя Лямин и в ум и в сердце Катерины Львовны. Даже задумчивая и к самому Сергею неласковая она стала. Спит ли, по хозяйству ли выйдет, или Богу молиться станет, а на уме все у нее одно: «Как же это? за что и в самом деле должна я через него лишиться капитала? Столько я страдала, столько греха на свою душу приняла, – думает Катерина Львовна, – а он без всяких хлопот приехал и отнимает у меня... И добро бы человек, а то дитя, мальчик...»

На дворе стали ранние заморозки. О Зиновии Борисыче, разумеется, никаких слухов ниоткуда не приходило. Катерина Львовна полнела и все ходила задумчивая; по городу на ее счет в барабаны барабанили, добираясь, как и отчего молодая Измайлова все неродница была, все худела да чаврела, и вдруг спереди пухнуть пошла. А отрочествующий сонаследник Федя Лямин в легком беличьем тулупе погуливал по двору да ледок по колдобинкам поламывал.

– Ну, Феодор Игнатьич! ну, купецкий сын! – кричит, бывало, на него, пробегая по двору, кухарка Аксинья. – Пристало это тебе, купецкому-то сыну, да в лужах копать?

А сонаследник, смущавший Катерину Львовну с ее предметом, побрыкивал себе безмятежным козлик и еще безмятежнее спал супротив пестовавшей его бабушки, не думая и не помышляя, что он кому-нибудь перешел дорогу или поубавил счастья.

Наконец набегал себе Федя ветряную оспу, а к ней привязалась еще простудная боль в груди, и мальчик слег. Лечили его сначала травками да муравками, а потом и за лекарем послали.

Стал ездить лекарь, стал прописывать лекарства, стали их давать мальчику по часам, то сама бабушка, а то Катерину Львовну попросит.

– Потрудишься, – скажет, – Катеринушка, – ты, мать, сама человек грузный, сама суда Божьего ждешь; потрудишься.

Катерина Львовна не отказывала старухе. Пойдет ли та ко всенощной помолиться за «лежащего на одре болезни отрока Феодора» или к ранней обедне часточку за него вынуть, Катерина Львовна сидит у больного, и напоит его, и лекарство ему даст вовремя.

Так пошла старушка к вечерне и ко всенощной под праздник Введения, а Катеринушку попросила присмотреть за Федюшкой. Мальчик в эту пору уже обмогался.

Катерина Львовна вошла к Феде, а он сидит на постели в своем беличьем тулупчике и читает патерик.

– Что ты это читаешь, Федя? – спросила его, усевшись в кресло, Катерина Львовна.

– Житие, тетенька, читаю.

– Занятно?

– Очень, тетенька, занятно.

Катерина Львовна подперлась рукою и стала смотреть на шевелящего губами Федю, и вдруг словно демоны с цепи сорвались, и разом осели ее прежние мысли о том, сколько зла причиняет ей этот мальчик и как бы хорошо было, если бы его не было.

«А ведь что, – думалось Катерине Львовне, – ведь больной он; лекарство ему дают... мало ли что в болезни... Только всего и скажу, что лекарь не такое лекарство потрафил».

– Пора тебе, Федя, лекарства?

– Пожалуйте, тетенька, – отвечал мальчик и, хлебнув ложку, добавил, – очень занятно, тетенька, это о святых описывается.

– Ну читай, – проронила Катерина Львовна и, обведя холодным взглядом комнату, остановила его на разрисованных морозом окнах.

– Надо окна велеть закрыть, – сказала она и вышла в гостиную, а оттуда в залу, а оттуда к себе наверх и присела.

Минут через пять к ней туда же наверх молча вошел Сергей в романовском полушубке, отороченном пушистым котиком.

– Закрыли окна? – спросила его Катерина Львовна.

– Закрыли, – отрывисто отвечал Сергей, снял щипцами со свечи и стал у печки. Водворилось молчание.

– Нонче всенощная не скоро кончится? – спросила Катерина Львовна.

– Праздник большой завтра: долго будут служить, – отвечал Сергей. Опять вышла пауза.

– Сходить к Феде: он там один, – произнесла, подымаясь, Катерина Львовна.

– Один? – спросил ее, глянув исподлобья, Сергей.

– Один, – отвечала она ему шепотом, – а что?

И из глаз в глаза у них замелькала словно какая сеть молниеносная; но никто не сказал более друг другу ни слова.

Катерина Львовна сошла вниз, прошлась по пустым комнатам: везде все тихо; лампы спокойно горят; по стенам разбегается ее собственная тень; закрытые ставнями окна начали оттаивать и заплакали. Федя сидит и читает. Увидя Катерину Львовну, он только сказал:

– Тетенька, положьте, пожалуйста, эту книжку, а мне вот ту, с образника, пожалуйста.

Катерина Львовна исполнила просьбу племянника и подала ему книгу.

– Ты не заснул ли бы, Федя?

– Нет, тетенька, я буду бабушку дожидаться.

– Чего тебе ее ждать?

– Она мне благословенного хлебца от всенощной обещалась.

Катерина Львовна вдруг побледнела, собственный ребенок у нее впервые повернулся под сердцем, и в груди у нее потянуло холодом. Постояла она среди комнаты и вышла, потирая стынувшие руки.

– Ну! – шепнула она, тихо взойдя в свою спальню и снова заставая Сергея в прежнем положении у печки.

– Что? – спросил едва слышно Сергей и поперхнулся.

– Он один.

Сергей надвинул брови и стал тяжело дышать.

– Пойдем, – порывисто обернувшись к двери, сказала Катерина Львовна.

Сергей быстро снял сапоги и спросил:

– Что ж взять?

– Ничего, – одним придыханием ответила Катерина Львовна и тихо повела его за собою за руку.

## Глава XI

Больной мальчик вздрогнул и опустил на колени книжку, когда к нему в третий раз вошла Катерина Львовна. – Что ты, Федя?

– Ох, я, тетенька, чего-то испугался, – отвечал он, тревожно улыбаясь и прижимаясь в угол постели.

– Чего ж ты испугался?

– Да кто это с вами шел, тетенька?

– Где? Никто со мной, миленький, не шел.

– Никто?

Мальчик потянулся к ногам кровати и, прищурив глаза, посмотрел по направлению к дверям, через которые вошла тетка, и успокоился.

– Это мне, верно, так показалось, – сказал он.

Катерина Львовна остановилась, облокотясь на изголовную стенку племянниковой кровати.

Федя посмотрел на тетку и заметил ей, что она отчего-то совсем бледная.

В ответ на это замечание Катерина Львовна произвольно кашлянула и с ожиданием посмотрела на дверь гостиной. Там только тихо треснула одна половица.

– Житие моего ангела, святого Феодора Стратилата, тетенька, читаю. Вот угождал Богу-то.

Катерина Львовна стояла молча.

– Хотите, тетенька, сядьте, а я вам опять прочитаю? – ласкался к ней племянник.

– Постой, я сейчас, только вот лампаду в зале поправлю, – ответила Катерина Львовна и вышла торопливою походкой.

В гостиной послышался самый тихий шепот; но он дошел среди общего безмолвия до чуткого уха ребенка.

– Тетенька! да что ж это? С кем же это вы там шепчетесь? – вскрикнул, с слезами в голосе, мальчик. – Идите сюда, тетенька: я боюсь, – еще слезливее позвал он через секунду, и ему послышалось, что Катерина Львовна сказала в гостиной «ну», которое мальчик отнес к себе.

– Чего боишься? – несколько охрипшим голосом спросила его Катерина Львовна, входя смелым, решительным шагом и становясь у его кровати так, что дверь из гостиной была закрыта от больного ее телом. – Ляг, – сказала она ему вслед за этим.

– Я, тетенька, не хочу.

– Нет, ты, Федя, послушайся меня, ляг, пора; ляг, – повторила Катерина Львовна.

– Что это вы, тетенька! да я не хочу совсем.

– Нет, ты ложись, ложись, – проговорила Катерина Львовна опять изменившимся, нетвердым голосом и, схватив мальчика под мышки, положила его на изголовье.

В это мгновение Федя неистово вскрикнул: он увидел входящего бледного, босого Сергея.

Катерина Львовна захватила своей ладонью раскрытый в ужасе рот испуганного ребенка и крикнула:

– А ну скорее; держи ровно, чтоб не бился!

Сергей взял Федю за ноги и за руки, а Катерина Львовна одним движением закрыла детское личико страдальца большою пуховою подушкой и сама навалилась на нее крепкой, упругой грудью.

Минуты четыре в комнате было могильное молчание.

– Кончился, – прошептала Катерина Львовна и только что привстала, чтобы привести все в порядок, как стены тихого дома, сокрывшего столько преступлений, затряслись от оглу-

шительных ударов: окна дребезжали, полы качались, цепочки висячих лампад вздрагивали и блуждали по стенам фантастическими тенями.

Сергей задрожал и со всех ног бросился бежать; Катерина Львовна кинулась за ним, а шум и гам за ними. Казалось, какие-то неземные силы колыхали грешный дом до основания.

Катерина Львовна боялась, чтоб, гонимый страхом, Сергей не выбежал на двор и не выдал себя своим перепугом; но он кинулся прямо на вышку.

Взбежавши на лестницу, Сергей в темноте треснулся лбом о полупритворенную дверь и со стоном полетел вниз, совершенно обезумев от суеверного страха.

– Зиновий Борисыч, Зиновий Борисыч! – бормотал он, летя вниз головою по лестнице и увлекая за собою сбитую с ног Катерину Львовну.

– Где? – спросила она.

– Вот над нами с железным листом пролетел. Вот, вот опять! ай, ай! – закричал Сергей, – гремит, опять гремит.

Теперь было очень ясно, что множество рук стучат во все окна с улицы, а кто-то ломится в двери.

– Дурак! вставай, дурак! – крикнула Катерина Львовна и с этими словами она сама порхнула к Феде, уложила его мертвую голову в самой естественной спящей позе на подушках и твердой рукой отперла двери, в которые ломилась куча народа.

Зрелище было страшное. Катерина Львовна глянула повыше толпы, осаждающей крыльцо, а чрез высокий забор целыми рядами перелезают на двор незнакомые люди, и на улице стон стоит от людского говора.

Не успела Катерина Львовна ничего сообразить, как народ, окружающий крыльцо, смял ее и бросил в покой.

## Глава XII

А вся эта тревога произошла вот каким образом: народу на всенощной под двенадесятый праздник во всех церквях хоть и уездного, но довольно большого и промышленного города, где жила Катерина Львовна, бывает видимо-невидимо, а уж в той церкви, где завтра престол, даже и в ограде яблоку упасть негде. Тут обыкновенно поют певчие, собранные из купеческих молодцов и управляемые особым регентом тоже из любителей вокального искусства.

Наш народ набожный, к церкви Божией рачительный и по всему этому народ в свою меру художественный: благолепие церковное и стройное «органистое» пение составляют для него одно из самых высоких и самых чистых его наслаждений. Где поют певчие, там у нас собирается чуть не половина города, особенно торговая молодежь: приказчики, молодцы, мастеровые с фабрик, заводов и сами хозяева с своими половинами, – все собьются в одну церковь; каждому хочется хоть на паперти постоять, хоть под окном на пеклом жару или на трескучем морозе послушать, как органит октава, а заносистый тенор отливает самые капризные варшляки<sup>1</sup>.

В приходской церкви измайловского дома был престол в честь Введения во храм Пресвятые Богородицы, и потому вечером под день этого праздника, в самое время описанного происшествия с Федей, молодежь целого города была в этой церкви и, расходясь шумною толпою, толковала о достоинствах известного тенора и случайных неловкостях столь же известного баса.

Но не всех занимали эти вокальные вопросы: были в толпе люди, интересовавшиеся и другими вопросами.

– А вот, ребята, чудно тоже про молодую Измайлиху рассказывают, – заговорил, подходя к дому Измайловых, молодой машинист, привезенный одним купцом из Петербурга на свою паровую мельницу, – рассказывают, – говорил он, – будто у нее с ихним приказчиком Сережкой по всякую минуту амуры идут...

– Это уж всем известно, – отвечал тулуп, крытый синей нанкой. – Ее нонче и в церкви, знать, не было.

– Что церковь? Столь скверная бабенка испаскудилась, что ни Бога, ни совести, ни глаз людских не боится.

– А ишь, у них вот светится, – заметил машинист, указывая на светлую полосу между ставнями.

– Глянь-ка в щелочку, что там делают? – цыкнули несколько голосов.

Машинист оперся на двое товарищеских плеч и только что приложил глаз к ставенному створу, как благим матом крикнул:

– Братцы мои, голубчики! душат кого-то здесь, душат!

И машинист отчаянно заколотил руками в ставню. Человек десять последовали его примеру и, вскочив к окнам, тоже заработали кулаками.

Толпа увеличивалась каждое мгновение, и произошла известная нам осада измайловского дома.

– Видел сам, собственными моими глазами видел, – свидетельствовал над мертвым Федей машинист, – младенец лежал повержен на ложе, а они вдвоем душили его.

Сергея взяли в часть в тот же вечер, а Катерину Львовну отвели в ее верхнюю комнату и приставили к ней двух часовых.

В доме Измайловых был нестерпимый холод: печи не топились, дверь на пяди не стояла: одна густая толпа любопытного народа сменяла другую. Все ходили смотреть на лежащего в гробу Федю и на другой большой гроб, плотно закрытый по крыше широкою пеленою. На лбу

---

<sup>1</sup> В Орловской губернии певчие так называют форшляги. (Прим. автора.)



у Феди лежал белый атласный венчик, которым был закрыт красный рубец, оставшийся после вскрытия черепа. Судебно-медицинским вскрытием было обнаружено, что Федя умер от удушья, и приведенный к его трупу Сергей, при первых же словах священника о Страшном суде и наказании нераскаянным, расплакался и чистосердечно сознался не только в убийстве Феди, но и попросил откопать зарытого им без погребения Зиновия Борисыча. Труп мужа Катерины Львовны, зарытый в сухом песке, еще не совершенно разложился: его вынули и уложили в большой гроб. Своею участницею в обоих этих преступлениях Сергей назвал, к всеобщему ужасу, молодую хозяйку. Катерина Львовна на все вопросы отвечала только: «Я ничего этого не знаю и не ведаю». Сергея заставили уличать ее на очной ставке. Выслушав его признания, Катерина Львовна посмотрела на него с немым изумлением, но без гнева, и потом равнодушно сказала:

- Если ему охота была это сказывать, так мне запираяться нечего: я убила.
- Для чего же? – спрашивали ее.
- Для него, – отвечала она, показав на повесившего голову Сергея.

Преступников рассадили в остроге, и ужасное дело, обратившее на себя всеобщее внимание и негодование, было решено очень скоро. В конце февраля Сергею и купеческой третьей гильдии вдове Катерине Львовне объявили в уголовной палате, что их решено наказать плетью на торговой площади своего города и сослать потом обоих в каторжную работу. В начале марта, в холодное морозное утро, палач отсчитал положенное число сине-багровых рубцов на обнаженной белой спине Катерины Львовны, а потом отбил порцию и на плечах Сергея и заштемпелевал его красивое лицо тремя каторжными знаками.

Во все это время Сергей почему-то возбуждал гораздо более общего сочувствия, чем Катерина Львовна. Измазанный и окровавленный, он падал, сходя с черного эшафота, а Катерина Львовна сошла тихо, стараясь только, чтобы толстая рубаха и грубая арестантская свита не прилегали к ее изорванной спине.

Даже в острожной больнице, когда ей там подали ее ребенка, она только сказала: «Ну его совсем!» – и, отворотясь к стене, без всякого стога, без всякой жалобы повалилась грудью на жесткую койку.

## Глава XIII

Партия, в которую попали Сергей и Катерина Львовна, выступала, когда весна значилась только по календарю, а солнышко еще по народной пословице «ярко светило, да не тепло грело».

Ребенка Катерины Львовны отдали на воспитание старушке, сестре Бориса Тимофеича, так как, считаясь законным сыном убитого мужа преступницы, младенец оставался единственным наследником всего теперь измайловского состояния. Катерина Львовна была этим очень довольна и отдала дитя весьма равнодушно. Любовь ее к отцу, как любовь многих слишком страстных женщин, не переходила никакою своею частию на ребенка.

Впрочем, для нее не существовало ни света, ни тьмы, ни худа, ни добра, ни скуки, ни радостей; она ничего не понимала, никого не любила и себя не любила. Она ждала с нетерпением только выступления партии в дорогу, где опять надеялась видетсья с своим Сережечкой, а о дитяти забыла и думать.

Надежды Катерины Львовны ее не обманули: тяжело окованный цепями, клейменный Сергей вышел в одной с нею кучке за острожные ворота.

Ко всякому отвратительному положению человек по возможности привыкает, и в каждом положении он сохраняет по возможности способность преследовать свои скудные радости; но Катерине Львовне не к чему было и приспособливаться: она видит опять Сергея, а с ним ей и каторжный путь цветет счастьем.

Мало вынесла с собою Катерина Львовна в пестрядинном мешке ценных вещей и еще того меньше наличных денег. Но и это все, еще далеко не доходя до Нижнего, раздала она этапным ундерам за возможность идти с Сергеем рядышком дорогой и постоять с ним обнявшись часок темной ночью в холодном закоулочке узенького этапного коридора.

Только штемпелеванный дружок Катерины Львовны стал что-то до нее очень неласков: что ей ни скажет, как оторвет, тайными свиданьями с ней, за которые та не евши и не пивши отдает самой ей нужный четвертачок из тощего кошелька, дорожит не очень и даже не раз говаривал:

– Ты замест того, чтобы углы-то в коридоре выходить со мной обтирать, мне бы эти деньги предоставила, что ундеру отдала.

– Четвертачок всего, Сереженька, я дала, – оправдывалась Катерина Львовна.

– А четвертачок неш не деньги? Много ты их на дороге-то наподнимала, этих четвертачков, а рассовала уж чай, немало.

– Зато же, Сережа, видались.

– Ну, легко ли, радость какая после этакой муки видаться-то! Жисть-то свою проклял бы, а не то что свидание.

– А мне, Сережа, все равно: мне лишь бы тебя видеть.

– Глупости все это, – отвечал Сергей.

Катерина Львовна иной раз до крови губы кусала при таких ответах, а иной раз и на ее неплаксивых глазах слезы злобы и досады наворачивались в темноте ночных свиданий; но все она терпела, все молчала и сама себя хотела обманывать.

Таким образом в этих новых друг к другу отношениях дошли они до Нижнего Новгорода. Здесь партия их соединилась с партией, следовавшею в Сибирь с московского тракта.

В этой большой партии в числе множества всякого народа в женском отделении были два очень интересные лица: одна – солдатка Фиона из Ярославля, такая чудесная, роскошная женщина, высокого роста, с густою черною косою и томными карими глазами, как таинственной фатой завешенными густыми ресницами; а другая – семнадцатилетняя востролиценькая блондиночка с нежно-розовой кожей, крошечным ротиком, ямочками на свежих щечках и

золотисто-русыми кудрями, капризно выбегавшими на лоб из-под арестантской пестрядинной повязки. Девочку эту в партии звали Сонеткой.

Красавица Фиона была нрава мягкого и ленивого. В своей партии ее все знали, и никто из мужчин особенно не радовался, достигая у нее успеха, и никто не огорчался, видя, как она тем же самым успехом дарила другого искателя.

– Тетка Фиона у нас баба добрая, никому от нее обиды нет, – говорили шутя арестанты в один голос.

Но Сонетка была совсем в другом роде.

Об этой говорили:

– Вьюн: около рук вьется, а в руки не дается.

Сонетка имела вкус, блюла выбор и даже, может быть, очень строгий выбор; она хотела, чтобы страсть приносили ей не в виде сыроежки, а под пикантную, пряную приправу, с страданиями и с жертвами; а Фиона была русская простота, которой даже лень сказать кому-нибудь: «прочь поди» и которая знает только одно, что она баба. Такие женщины очень высоко ценятся в разбойничьих шайках, арестантских партиях и петербургских социально-демократических коммунах.

Появление этих двух женщин в одной соединительной партии с Сергеем и Катериной Львовной имело для последней трагическое значение.

## Глава XIV

С первых же дней вместного следования соединенной партии от Нижнего к Казани Сергей стал видимым образом заискивать расположения солдатки Фионы и не пострадал безуспешно. Томная красавица Фиона не истомила Сергея, как не томила она по своей доброте никого. На третьем или четвертом этапе Катерина Львовна с ранних сумерек устроила себе, посредством подкупа, свидание с Сережечкой и лежит не спит: все ждет, что вот-вот взойдет дежурный ундерок, тихонько толкнет ее и шепнет: «беги скорей». Отворилась дверь раз, и какая-то женщина юркнула в коридор; отворилась и еще раз дверь, и еще с нар скоро вскочила и тоже исчезла за провожатым другая арестантка; наконец дернули за свиту, которой была покрыта Катерина Львовна. Молодая женщина быстро поднялась с обложенных арестантскими боками нар, накинула свиту на плечи и толкнула стоящего перед нею провожатого.

Когда Катерина Львовна проходила по коридору, только в одном месте, слабо освещенном слепою плошкой, она наткнулась на две или три пары, не дававшие ничем себя заметить издали. При проходе Катерины Львовны мимо мужской арестантской, сквозь окошечко, прорезанное в двери, ей послышался сдержанный хохот.

– Ишь жируют, – буркнул провожатый Катерины Львовны и, придержав ее за плечи, ткнул в уголок и удалился.

Катерина Львовна нащупала рукой свиту и бороду; другая ее рука коснулась жаркого женского лица.

– Кто это? – спросил вполголоса Сергей.

– А ты чего тут? с кем ты это?

Катерина Львовна дернула впотьмах повязку с своей соперницы. Та скользнула в сторону, бросилась и, споткнувшись на кого-то в коридоре, полетела.

Из мужской камеры раздался дружный хохот.

– Злодей! – прошептала Катерина Львовна и ударила Сергея по лицу концами платка, сорванного с головы его новой подруги.

Сергей поднял было руку; но Катерина Львовна легко промелькнула по коридору и взялась за свои двери. Хохот из мужской комнаты вслед ей повторился до того громко, что часовой, апатично стоявший против плошки и плевавший себе в носок сапога, приподнял голову и рыкнул:

– Цыц!

Катерина Львовна улеглась молча и так пролежала до утра. Она хотела себе сказать: «не люблю ж его», и чувствовала, что любила его еще горячее, еще больше. И вот в глазах ее все рисуется, все рисуется, как ладонь его дрожала у той под ее головою, как другая рука его обнимала ее жаркие плечи.

Бедная женщина заплакала и звала мимовольно ту же ладонь, чтобы она была в эту минуту под ее головою и чтоб другая его же рука обняла ее истерически дрожавшие плечи.

– Ну, иначе, дай же ты мне мою повязку, – побудила ее утром солдатка Фиона.

– А, так это ты?..

– Отдай, пожалуйста!

– А ты зачем разлучаешь?

– Да чем же я вас разлучаю? Неш это какая любовь или интерес в самом деле, чтоб сердиться?

Катерина Львовна секунду подумала, потом вынула из-под подушки сорванную ночью повязку и, бросив ее Фионе, повернулась к стенке.

Ей стало легче.

– Тыффу, – сказала она себе, – неужели ж таки к этой лоханке крашеной я ревновать стану! Сгинь она! Мне и применять-то себя к ней скверно.

– А ты, Катерина Ильвовна, вот что, – говорил, идучи назавтра дорогою, Сергей, – ты, пожалуйста, разумей, что один раз я тебе не Зиновий Борисыч, а другое, что и ты теперь не велика купчиха: так ты не пыщись, сделай милость. Козьи рога у нас в торг нейдут.

Катерина Львовна ничего на это не отвечала, и с неделю она шла, с Сергеем ни словом, ни взглядом не обменявшись. Как обиженная, она все-таки выдерживала характер и не хотела сделать первого шага к примирению в этой первой ее ссоре с Сергеем.

Между тем этой порою, как Катерина Львовна на Сергея сердилась, Сергей стал чепуриться и заигрывать с беленькой Сонеткой. То раскланивается с ней «с нашим особенным», то улыбается, то, как встретится, норовит обнять да прижать ее. Катерина Львовна все это видит, и только пуще у нее сердце кипит.

«Уж помириться бы мне с ним, что ли?» – рассуждает, спотыкаясь и земли под собою не видя, Катерина Львовна.

Но подойти же первой помириться теперь еще более, чем когда-либо, гордость не позволяет. А тем временем Сергей все неотступнее вяжется за Сонеткой, и уж всем сдается, что недоступная Сонетка, которая все выюном вилась, а в руки не давалась, что-то вдруг будто ручнеть стала.

– Вот ты на меня плакалась, – сказала как-то Катерине Львовне Фиона, – а я что тебе сделала? Мой случай был, да и прошел, а ты вот за Сонеткой-то глядела б.

«Пропади она, эта моя гордость: непременно нонче же помирюсь», – решила Катерина Львовна, размышляя уж только об одном, как бы только ловчей взяться за это примирение.

Из этого затруднительного положения ее вывел сам Сергей.

– Ильвовна! – позвал он ее на привале. – Выдь ты нонче ко мне на минуточку ночью: дело есть.

Катерина Львовна промолчала.

– Что ж, может, сердишься еще – не выйдешь?

Катерина Львовна опять ничего не ответила.

Но Сергей, да и все, кто наблюдал за Катериной Львовной, видели, что, подходя к этапному дому, она все стала жаться к старшему ундеру и сунула ему семнадцать копеек, собранных от мирского подаяния.

– Как только соберу, я вам додам гривну, – упрашивала Катерина Львовна.

Ундер спрятал за обшлаг деньги и сказал:

– Ладно.

Сергей, когда кончились эти переговоры, крикнул и подмигнул Сонетке.

– Ах ты, Катерина Ильвовна! – говорил он, обнимая ее при входе на ступени этапного дома. – Супротив этой женщины, ребята, в целом свете другой такой нет.

Катерина Львовна и краснела и задыхалась от счастья.

Чуть ночью тихонько приотворилась дверь, как она так и выскочила: дрожит и ищет руками Сергея по темному коридору.

– Катя моя! – произнес, обняв ее, Сергей.

– Ах ты, злодей ты мой! – сквозь слезы отвечала Катерина Львовна и прильнула к нему губами.

Часовой ходил по коридору и, останавливаясь, плевал на свои сапоги, и ходил снова, за дверями усталые арестанты храпели, мышь грызла перо, под печью, взапуски друг перед другом, заливались сверчки, а Катерина Львовна все еще блаженствовала.

Но устали восторги, и слышна неизбежная проза.

– Смерть больно: от самой от щиколотки до самого колена кости так и гудут, – жаловался Сергей, сидя с Катериной Львовной на полу в углу коридора.

- Что же делать-то, Сережечка? – расспрашивала она, ютясь под полу его свиты.
  - Нешто только в лазарет в Казани попрошусь?
  - Ох, чтой-то ты, Сережа?
  - А что ж, когда смерть моя больно.
  - Как же ты останешься, а меня погонят?
  - А что ж делать? трет, так, я тебе говорю, трет, что как в кость вся цепь не въедается.
- Разве когда б шерстяные чулки, что ли, поддеть еще, – проговорил Сергей спустя минуту.
- Чулки? у меня еще есть, Сережа, новые чулки.
  - Ну, на что! – отвечал Сергей.

Катерина Львовна, ни слова не говоря более, юркнула в камеру, растормошила на нарах свою сумочку и опять торопливо выскочила к Сергею с парюю синих болховских шерстяных чулок с яркими стрелками сбоку.

– Эдак теперь ничего будет, – произнес Сергей, прощаясь с Катериной Львовной и принимая ее последние чулки.

Катерина Львовна, счастливая, вернулась на свои нары и крепко заснула.

Она не слыхала, как после ее прихода в коридор выходила Сонетка и как тихо она возвратилась оттуда уже перед самым утром.

Это случилось всего за два перехода до Казани.

## Глава XV

Холодный, ненастный день с порывистым ветром и дождем, перемешанным со снегом, неприветливо встретил партию, выступавшую за ворота душного этапа. Катерина Львовна вышла довольно бодро, но только что стала в ряд, как вся затряслась и позеленела. В глазах у нее стало темно; все суставы ее заныли и расслабели. Перед Катериной Львовной стояла Сонетка в хорошо знакомых той синих шерстяных чулках с яркими стрелками.

Катерина Львовна двинулась в путь совсем неживая; только глаза ее страшно смотрели на Сергея и с него не смаргивали.

На первом привале она спокойно подошла к Сергею, прошептала «подлец» и неожиданно плюнула ему прямо в глаза.

Сергей хотел на нее броситься; но его удержали.

– погоди ж ты! – произнес он и оберся.

– Ничего, однако, отважно она с тобой поступает, – трунили над Сергеем арестанты, и особенно веселым хохотом заливалась Сонетка.

Эта интрижка, на которую сдалась Сонетка, шла совсем в ее вкусе.

– Ну, это ж тебе так не пройдет, – грозился Катерине Львовне Сергей.

Умаявшись непогодью и переходом, Катерина Львовна с разбитой душой тревожно спала ночью на нарах в очередном этапном доме и не слыхала, как в женскую казарму вошли два человека.

С приходом их с нар приподнялась Сонетка, молча показала она вошедшим рукою на Катерину Львовну, опять легла и закуталась своею свитою.

В это же мгновение свита Катерины Львовны взлетела ей на голову, и по ее спине, закрытой одной суровою рубашкою, загулял во всю мужичью мочь толстый конец вдвое свитой веревки.

Катерина Львовна вскрикнула; но голоса ее не было слышно из-под свиты, окутывающей ее голову. Она рванулась, но тоже без успеха: на плечах ее сидел здоровый арестант и крепко держал ее руки.

– Пятьдесят, – сосчитал, наконец, один голос, в котором никому нетрудно было узнать голос Сергея, и ночные посетители разом исчезли за дверью.

Катерина Львовна раскутала голову и вскочила: никого не было; только невдалеке кто-то злорадно хихикал под свитою. Катерина Львовна узнала хохот Сонетки.

Обиде этой уже не было меры; не было меры и чувству злобы, закипевшей в это мгновение в душе Катерины Львовны. Она без памяти ринулась вперед и без памяти упала на грудь подхватившей ее Фионы.

На этой полной груди, еще так недавно тешившей сластью разврата неверного любовника Катерины Львовны, она теперь выплакивала нестерпимое свое горе и, как дитя к матери, прижималась к своей глупой и рыхлой сопернице. Они были теперь равны: они обе были сравнены в цене и обе брошены.

Они равны!... подвластная первому случаю Фиона и совершающая драму любви Катерина Львовна!

Катерине Львовне, впрочем, было уже ничто не обидно. Выплакав свои слезы, она окаменела и с деревянным спокойствием собиралась выходить на переключку.

Барабан бьет: тах-тарарах-тах; на двор вываливают скованные и нескованные арестантики, и Сергей, и Фиона, и Сонетка, и Катерина Львовна, и раскольник, скованный с жидом, и поляк на одной цепи с татаринном.

Все скучились, потом выравнились кое в какой порядок и пошли.

Безотраднейшая картина: горсть людей, оторванных от света и лишенных всякой тени надежд на лучшее будущее, тонет в холодной черной грязи грунтовой дороги. Кругом все до ужаса безобразно: бесконечная грязь, серое небо, обезлиственные, мокрые ракиты и в растопыренных их сучьях нахохлившаяся ворона. Ветер то стонет, то злится, то воет и ревет.

В этих адских, душу раздирающих звуках, которые довершают весь ужас картины, звучат советы жены библейского Иова: «Прокляни день твоего рождения и умри».

Кто не хочет вслушиваться в эти слова, кого мысль о смерти и в этом печальном положении не льстит, а пугает, тому надо стараться заглушить эти воющие голоса чем-нибудь еще более их безобразным. Это прекрасно понимает простой человек: он спускает тогда на волю всю свою звериную простоту, начинает глупить, издеваться над собою, над людьми, над чувством. Не особенно нежный и без того, он становится зол сугубо.

– Что, купчиха? Все ли ваше степенство в добром здоровье? – нагло спросил Катерину Львовну Сергей, чуть только партия потеряла за мокрым пригорком деревню, где ночевала.





С этими словами он, сейчас же обратясь к Сонетке, покрыл ее своею полою и запел высоким фальцетом:

За окном в тени мелькает русая головка.  
Ты не спишь, мое мученье, ты не спишь, плутовка.  
Я полою тебя прикрою, так что не заметят.

При этих словах Сергей обнял Сонетку и громко поцеловал ее при всей партии...

Катерина Львовна все это видела и не видала: она шла совсем уж неживым человеком. Ее стали поталкивать и показывать ей, как Сергей безобразничает с Сонеткой. Она стала предметом насмешек.

– Не троньте ее, – заступалась Фиона, когда кто-нибудь из партии пробовал подсмеяться над спотыкающеюся Катериной Львовною. – Нешто не видите, черти, что женщина больна совсем?

– Должно, ножки промочила, – острил молодой арестант.

– Известно, купеческого роду: воспитания нежного, – отозвался Сергей.

– Разумеется, если бы им хотя чулочки бы теплые: оно бы ничего еще, – продолжал он.

Катерина Львовна словно проснулась.

– Змей подлый! – произнесла она, не стерпев, – насмехайся, подлец, насмехайся!

– Нет, я это совсем, купчиха, не в насмешку, а что вот Сонетка чулки больно гожие продает, так я думал; не купит ли, мол, наша купчиха.

Многие засмеялись. Катерина Львовна шагала, как заведенный автомат.

Погода все разыгрывалась. Из серых облаков, покрывавших небо, стал падать мокрыми хлопьями снег, который, едва касаясь земли, таял и увеличивал невылазную грязь. Наконец, показывается темная свинцовая полоса; другого края ее не рассмотришь. Эта полоса – Волга. Над Волгой ходит крепковатый ветер и водит взад и вперед медленно приподнимающиеся широкопастые темные волны.

Партия промокших и продрогнувших арестантов медленно подошла к перевозу и остановилась, ожидая парома.

Подошел весь мокрый, темный паром; команда начала размещать арестантов.

– На этом пароме, сказывают, кто-то водку держит, – заметил какой-то арестант, когда осыпaeмый хлопьями мокрого снега паром отчалил от берега и закачался на валах расходившейся реки.

– Да, теперь ба точно безделицу пропустить ничего, – отзывался Сергей и, преследуя для Сонеткиной потехи Катерину Львовну, произнес: – Купчиха, а ну-ко по старой дружбе угости водочкой. Не скупись. Вспомни, моя разлюбезная, нашу прежнюю любовь, как мы с тобой, моя радость, погуливали, осенние долги ночи просиживали, твоих родных без попов и без дяков на вечный покой спроваживали.

Катерина Львовна вся дрожала от холода. Кроме холода, пронизывающего ее под измокшим платьем до самых костей, в организме Катерины Львовны происходило еще нечто другое. Голова ее горела как в огне; зрачки глаз были расширены, оживлены блудящим острым блеском и неподвижно вперены в ходящие волны.

– Ну, а водочки и я б уж выпила: мочи нет холодно, – прозвенела Сонетка.

– Купчиха, да угости, что ль! – мозолил Сергей.

– Эх ты, совесть! – выговорила Фиона, качая с упреком головою.

– Не к чести твоей совсем это, – поддержал солдатку арестантик Гордюшка.

– Хушь бы ты не против самой ее, так против других за нее посовестился.

– Ну ты, мирская табакерка! – крикнул на Фиону Сергей. – Тоже – совеститься! Что мне тут еще совеститься! я ее, может, и никогда не любил, а теперь... да мне вот стоптанный Сонеткин башмак милее ее рожи, кошки эдакой ободранной: так что ж ты мне против этого говорить можешь? Пусть вон Гордюшку косоротого любит, а то... – он оглянулся на едущего верхом сморчка в бурке и в военной фуражке с кокардой и добавил: – а то вон еще лучше к этапному пусть поластится: у него под буркой, по крайности, дождем не пробирает.

– И все б офицершей звать стали, – прозвенела Сонетка.

– Да как же!.. и на чулочки-то б шутя бы достала, – поддержал Сергей.

Катерина Львовна за себя не заступалась: она все пристальнее смотрела в волны и шевелила губами. Промежду гнусных речей Сергея гул и стон слышались ей из раскрывающихся и хлопающих валов. И вот вдруг из одного переломившегося вала показывается ей синяя голова Бориса Тимофеича, из другого выглянул и закачался муж, обнявшись с поникшим головкой Федей. Катерина Львовна хочет припомнить молитву и шевелит губами, а губы ее шепчут:

«как мы с тобой погуливали, осенние долги ночи просиживали, лютой смертью с бела света людей спроваживали».

Катерина Львовна дрожала. Блудящий взор ее сосредоточивался и становился диким. Руки раз и два неведомо куда протянулись в пространство и снова упали. Еще минуту – и она вдруг вся закачалась, не сводя глаз с темной волны, нагнулась, схватила Сонетку за ноги и одним махом перекинулась с нею за борт парома.

Все окаменели от изумления.

Катерина Львовна показалась на верху волны и опять нырнула; другая волна вынесла Сонетку.

– Багор! бросай багор! – закричали на пароме.

Тяжелый багор на длинной веревке взвился и упал в воду. Сонетки опять не стало видно. Через две секунды, быстро уносимая течением от парома, она снова вскинула руками; но в это же время из другой волны почти по пояс поднялась над водою Катерина Львовна, бросилась на Сонетку, как сильная щука на мягкоперую плотицу, и обе более уже не показались.

## Очарованный странник



### Глава I

Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валааму и на пути зашли по корабельной надобности в пристань к Кореле. Здесь многие из нас полюбопытствовали сойти на берег и съездили на бодрых чухонских лошадках в пустынный городок. Затем капитан изготавился продолжать путь, и мы снова отплыли.

После посещения Корелы весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хотя и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать. На судне все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек, склонный к философским обоб-

щениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять: для чего это неудобных в Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, отчего, конечно, происходит убыток казне на их провоз, тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Корела, где любое вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатиею населения и ужасною скукою гнетущей, скупой природы.

– Я уверен, – сказал этот путник, – что в настоящем случае непременно виновата рутина или в крайнем случае, может быть, недостаток подлежащих сведений.

Кто-то часто здесь путешествующий ответил на это, что будто и здесь разновременно жилали какие-то изгнанники, но только все они недолго будто выдерживали.

– Один молодец из семинаристов сюда за грубость в дьячки был прислан (этого рода ссылки я уже и понять не мог). Так, приехавши сюда, он долго храбрился и все надеялся какое-то судбище поднять; а потом как запил, так до тогопил, что совсем с ума сошел и послал такую просьбу, чтобы его лучше как можно скорее велели «расстрелять или в солдаты отдать, а за неспособностью повесить».

– Какая же на это последовала резолюция?

– М... н... не знаю, право; только он все равно этой резолюции не дождался: самовольно повесился.

– И прекрасно сделал, – откликнулся философ.

– Прекрасно? – переспросил рассказчик, очевидно купец, и притом человек солидный и религиозный.

– А что же? по крайней мере, умер, и концы в воду.

– Как же концы в воду-с? А на том свете что ему будет? Самоубийцы, ведь они целый век будут мучиться. За них даже и молиться никто не может.

Философ ядовито улыбнулся, но ничего не ответил, но зато и против него и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собою смертную казнь без разрешения начальства.

Это был новый пассажир, который ни для кого из нас не заметно присел с Коневца. Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания, но теперь все на него оглянулись, и, вероятно, все подивились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным. Это был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета: так странно отливала его проседь. Он был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским ременным поясом и в высоком черном суконном колпачке. Послушник он был или постриженный монах – этого отгадать было невозможно, потому что монахи ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камилавки, а в сельской простоте ограничиваются колпачками. Этому новому нашему спутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом типичский, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А.К. Толстого. Казалось, что ему бы не в раске ходить, а сидеть бы ему на «чубаром» да ездить в лаптищах по лесу и лениво нюхать, как «смолой и земляникой пахнет темный бор».

Но, при всем этом добром простодушии, не много надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, «бывалого». Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкой.

– Это все ничего не значит, – начал он, лениво и мягко выпуская слово за словом из-под густых, вверх, по-гусарски, закрученных седых усов. – Я, что вы насчет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю. И что за них будто

некому молиться – это тоже пустяки, потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить.

Его спросили: кто же это такой человек, который ведаёт и исправляет дела самоубийц после их смерти?

– А вот кто-с, – отвечал богатырь-черноризец, – есть в московской епархии в одном селе попик – прегорчающий пьяница, которого чуть было не расстригли, – так он ими орудует.

– Как же вам это известно?

– А помилуйте-с, это не я один знаю, а все в московском округе про то знают, потому что это дело шло через самого высокопреосвященного митрополита Филарета.

Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно.

Черноризец нимало не обиделся этим замечанием и отвечал:

– Да-с, оно по первому взгляду так-с, сомнительно-с. И что тут удивительного, что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не верили, а потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя этому не верить, и поверили?

Пассажиры пристали к иноку с просьбою рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался и начал следующее:

– Повествуют так, что пишет будто бы раз один благочинный высокопреосвященному владыке, что будто бы, говорит, так и так, этот попик ужасная пьяница, – пьет вино и в приходе не годится. И оно, это донесение, по одной сущности было справедливо. Владыко и велели прислать к ним этого попики в Москву. Посмотрели на него и видят, что действительно этот попик запивашка, и решили, что быть ему без места. Попик огорчился и даже перестал пить, и все убивается и оплакивает: «До чего, думаю, я себя довел, и что мне теперь больше делать, как не руки на себя наложить? Это одно, говорит, мне только и осталось: тогда, по крайней мере, владыко сжалятся над моею несчастною семьею и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил и семью мою питал». Вот и хорошо: так он порешил настоятельно себя кончить и день к тому определил, но только как был он человек доброй души, то подумал: «Хорошо же; умереть-то я, положим, умру, а ведь я не скотина: я не без души, – куда потом моя душа пойдет?» И стал он от этого часу еще больше скорбеть. Ну, хорошо: скорбит он и скорбит, а владыко решили, что быть ему за его пьянство без места, и легли однажды после трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть и заснули. Ну, хорошо: заснули они или этак только воздремали, как вдруг видят, будто к ним в келию двери отворяются. Они и окликнули: «Кто там?» – потому что думали, будто служка им про кого-нибудь доложить пришел; ан, вместо служки, смотрят – входит старец, добрый-предобрый, и владыко его сейчас узнали, что это преподобный Сергей.

Владыко и говорят:

«Ты ли это, пресвятой отче Сергие?»

А угодник отвечает:

«Я, раб Божий Филарет».

Владыко спрашивают:

«Что же твоей чистоте угодно от моего недостойства?»

А святой Сергей отвечает:

«Милости хочу».

«Кому же повелишь явить ее?»

А угодник и наименовал того попики, что за пьянство места лишен, и сам удалился; а владыко проснулись и думают: «К чему это причесть: простой это сон, или мечтание, или духоводительное видение?» И стали они размышлять и, как муж ума во всем свете именитого, находят, что это простой сон, потому что статочное ли дело, что святой Сергей, постник и доброго, строгого жития блюститель, ходатайствовал об иерее слабом, творящем житие с небрежением.

Ну-с, хорошо: рассудили так его высокопреосвященство и оставили все это дело естественному оному течению, как было начато, а сами провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час ко сну. Но только что они снова опочили, как снова видение, и такое, что великий дух владыки еще в большее смятение повергло. Можете вообразить: грохот... такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить... Скачут... числа им нет, сколько рыцарей... несутся, все в зеленом убранстве, латы и перья, и кони что львы, вороные, а впереди их горделивый стратопедарх в таком же уборе, и куда помахнет темным знаменем, туда все и скачут, а на знамени змей. Владыко не знает, к чему этот поезд, а оный горделивец командует: «Терзайте, – говорит, – их: теперь нет их молитвенника», – и проскакал мимо; а за сим стратопедархом – его воины, а за ними, как стая весенних гусей тощих, потянулись скучные тени, и все кивают владыке грустно и жалостно, и все сквозь плач тихо стонут: «Отпусти его! – он один за нас молится». Владыко как изволили встать, сейчас посылают за пьяным попиком и расспрашивают: как и за кого он молится? А поп по бедности духовной весь перед святителем растерялся и говорит: «Я, владыко, как положено совершаю». И насилиу его высокопреосвященство добились, что он повинился: «Виноват, – говорит, – в одном, что сам, слабость душевную имея и от отчаяния думая, что лучше жизни себя лишиться, я всегда на святой проскомидии за безпокаяния скончавшихся и руки на ся наложивших молюсь...» Ну, тут владыко и поняли, что то за тени пред ним в видении, как тощие гуси, плыли, и не восхотели радовать тех демонов, что впереди их спешили с губительством, и благословили попика: «Ступай, – изволили сказать, – и к тому не согрешай, а за кого молился – молись», – и опять его на место отправили. Так вот он, этакый человек, всегда таковым людям, что жизни борения не переносят, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего призвания не отступит и все будет за них создателю докучать, и тот должен будет их простить.

– Почему же «должен»?

– А потому, что «толцываете»; ведь это от него же самого повелено, так ведь уже это не переменится же-с.

– А скажите, пожалуйста, кроме этого московского священника, за самоубийц разве никто не молится?

– А не знаю, право, как вам на это что доложить? Не следует, говорят, будто бы за них Бога просить, потому что они самоуправцы, а впрочем, может быть, иные, сего не понимая, и о них молятся. На Троицу, не то на Духов день, однако, кажется даже всем позволено за них молиться. Тогда и молитвы такие особенные читаются. Чудесные молитвы, чувствительные; кажется, всегда бы их слушал.

– А их нельзя разве читать в другие дни?

– Не знаю-с. Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных: те, думается, должны бы знать; да как мне это ни к чему, так и не доводилось об этом говорить.

– А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись?

– Нет-с, не замечал; да и вы, впрочем, на мои слова в этом не полагайтесь, потому что я ведь у службы редко бываю.

– Отчего же это?

– Занятия мои мне не позволяют.

– Вы иеромонах или иеродиакон?

– Нет, я еще просто в рясофоре.

– Все же, ведь уже это значит, вы инок?

– Н... да-с; вообще это так почитают.

– Почитать-то почитают, – отозвался на это купец, – но только из рясофора-то еще можно и в солдаты лоб забрить.

Богатырь-черноризец нимало этим замечанием не обиделся, а только пораздумал немножко и отвечал:

– Да, можно, и, говорят, бывали такие случаи; но только я уже стар: пятьдесят третий год живу, да и мне военная служба не в диковину.

– Разве вы служили в военной службе?

– Служил-с.

– Что же, ты из ундеров, что ли? – снова спросил его купец.

– Нет, не из ундеров.

– Так кто же: солдат, или вахтер, или помазок – чей возок?

– Нет, не угадали; но только я настоящий военный, при полковых делах был почти с самого детства.

– Значит, кантонист? – сердясь, добивался купец.

– Опять же нет.

– Так прах же тебя разберет, кто же ты такой? – Я *конэсер*.

– Что-о-о тако-о-е?

– Я конэсер-с, конэсер, или, как простонароднее выразить, я в лошадях знаток и при ремонтерах состоял для их руководства.

– Вот как!

– Да-с, не одну тысячу коней отобрал и отъездил. Таких зверей отучал, каковые, например, бывают, что встает на дыбы да со всего духу навзничь бросается и сейчас седоку седельною лукою может грудь проломить, а со мной этого ни одна не могла.

– Как же вы таких усмиряли?

– Я... я очень просто, потому что я к этому от природы своей особенное дарование получил. Я как вскочу, сейчас, бывало, не дам лошади опомниться, левою рукою ее со всей силы за ухо да в сторону, а правую кулаком между ушей по башке, да зубами страшно на нее заскриплю, так у нее у иной даже инда мозг изо лба в ноздрах вместе с кровью покажется, – она и усмиреет.

– Ну, а потом?

– Потом сойдешь, огладишь, дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в памяти у нее хорошее воображение осталось, да потом сядешь опять и поедешь.

– И лошадь после этого смирно идет?

– Смирно пойдет, потому лошадь умна, она чувствует, какой человек с ней обращается и каких он насчет ее мыслей. Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякая любила и чувствовала. В Москве, в манеже, один конь был, совсем у всех наездников от рук отбился и изучил, профан, такую манеру, чтобы за колени седока есть. Просто, как черт, схватит зубищами, так всю коленную чашку и выщелушит. От него много людей погибло. Тогда в Москву англичанин Рарей приезжал, – «бешеный усмиритель» он назывался, – так она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съела, а в позор она его все-таки привела; но он тем от нее только и уцелел, что, говорят, стальной наколенник имел, так что она его хотя и ела за ногу, но не могла прокусить и сбросила; а то бы ему смерть; а я ее направил как должно.

– Расскажите, пожалуйста, как же вы это сделали?

– С Божиею помощью-с, потому что, повторяю вам, я к этому дар имею. Мистер Рарей этот, что называется «бешеный укротитель», и прочие, которые за этого коня брались, все искусство противу его злобности в поводах держали, чтобы не допустить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть: а я совсем противное тому средство изобрел; я, как только англичанин Рарей от этой лошади отказался, говорю: «Ничего, – говорю, – это самое пустое, потому что этот конь ничего больше, как бесом одержим. Англичанин этого не может постичь, а я постигну и помогу». Начальство согласилось. Тогда я говорю: «Выведите его за Дрогомиловскую заставу!» Вывели. Хорошо-с; свели мы его в поводьях в лошину к Филям, где летом господа на дачах живут. Я вижу: тут место просторное и удобное, и давай действовать. Сел на него, на этого людоеда, без рубахи, босой, в одних шароварах да в картузе, а по голому телу имел тесменный пояс от святого храброго князя Всеволода-Гавриила из Новгорода, кото-



рого я за молодечество его сильно уважал и в него верил; а на том пояске его надпись заткана: *«Чести моей никому не отдам»*. В руках же у меня не было никакого особого инструмента, как опричь в одной – крепкая татарская нагайка с свинцовым головком, в конце так не более яко в два фунта, а в другой – простой муравный горшок с жидким тестом. Ну-с, уселся я, а четверо человек тому коню морду поводьями в разные стороны тащат, чтобы он на которого-нибудь из них зубом не кинулся. А он, бес, видя, что на него ополчаемся, и ржет, и визжит, и потеет, и весь от злости трусится, сожрать меня хочет. Я это вижу и велю конюхам: «Тащите, – говорю, – скорее с него, мерзавца, узду долой». Те ушам не верят, что я им такое даю приказание, и глаза выпучили. Я говорю: «Что же вы стоите! или не слышите? Что я вам приказываю – вы то сейчас исполнять должны!» А они отвечают: «Что ты, Иван Северьяныч (меня в миру Иван Северьяныч, господин Флягин, звали): как, – говорят, – это можно, что ты велишь узду снять?» Я на них сердиться начал, потому что наблюдаю и чувствую в ногах, как конь от ярости бесится, и его хорошенько подавил в коленях, а им кричу: «Снимай!» Они было еще слово; но тут уже и я совсем рассвирепел да как заскриплю зубами – они сейчас в одно мгновение узду сдернули, да сами, кто куда видит, бросились бежать, а я ему в ту же минуту сейчас первое, чего он не ожидал, трах горшок об лоб: горшок разбил, а тесто ему и потекло и в глаза и в ноздри. Он испужался, думает: «Что это такое?» А я скорее схватил с головы картуз в левую руку и прямо им коню еще больше на глаза теста натираю, а нагайкой его по боку щелк... Он ёк да вперед, а я его картузом по глазам тру, чтобы ему совсем зрение в глазах замутить, а нагайкой еще по другому боку... Да и пошел, да и пошел его парить. Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть, все ему своим картузом по морде тесто размазываю, слеплю, зубным скрежетом в трепет привожу, пугаю, а по бокам с обеих сторон нагайкой деру, чтобы понимал, что это не шутка... Он это понял и не стал на одном месте упорствовать, а ударился меня носить. Носил он меня, сердечный, носил, а я его порол да порол, так что чем он усерднее носится, тем и я для него еще ревностнее плетью стараюсь, и, наконец, оба мы от этой работы стали уставать: у меня плечо ломит и рука не поднимается, да и он, смотрю, уже перестал коситься и язык изо рта вон посунул. Ну, тут я вижу, что он пардону просит, поскорее с него сошел, протер ему глаза, взял за вихор и говорю: «Стой, собачье мясо, песья снесь!» – да как дерну его книзу – он на колени передо мною и пал, и с той поры такой скромник сделался, что лучше требовать не надо: и садиться давался и ездил, но только скоро издох.

– Издох однако?

– Издох-с; гордая очень тварь был, поведением смирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть. А господин Рарей меня тогда, об этом прослышав, к себе в службу приглашал.

– Что же, вы служили у него?

– Нет-с.

– Отчего же?

– Да как вам сказать! Первое дело, что я ведь был конэсер и больше к этой части привык – для выбора, а не для отъездки, а ему нужно было только для одного бешеного усмирительства, а второе, что это с его стороны, как я полагаю, была одна коварная хитрость. – Какая же?

– Хотел у меня секрет взять.

– А вы бы ему продали?

– Да, я бы продал.

– Так за чем же дело стало?

– Так... он сам меня, должно быть, испугался.

– Расскажите, сделайте милость, что это еще за история?

– Никакой-с особенной истории не было, а только он говорит: «Открой мне, братец, твой секрет – я тебе большие деньги дам и к себе в конэсеры возьму». Но как я никогда не мог никого обманывать, то и отвечаю: «Какой же секрет? – это глупость». А он все с аглицкой, ученой точки берет и не поверил; говорит: «Ну, если ты не хочешь так, в своем виде, открыть, то

давай с тобою вместе ром пить». После этого мы пили вдвоем с ним очень много рому, до того, что он покраснелся и говорит, как умел: «Ну, теперь, мол, открывай, что ты с конем делал? «А я отвечаю: «Вот что...» – да глянул на него как можно пострашнее и зубами заскрипел, а как горшка с тестом на ту пору при себе не имел, то взял да для примера стаканом на него размахнул, а он вдруг, это видя, как нырнет – и спустился под стол, да потом как шаркнет к двери, да и был таков, и негде его стало и искать. Так с тех пор мы с ним уже и не видались.

– Поэтому вы к нему и не поступили?

– Поэтому-с. Да и как же поступить, когда он с тех пор даже встретить меня опасался? А я бы очень к нему тогда хотел, потому что он мне, пока мы с ним на роме на этом состязались, очень понравился, но, верно, своего пути не обежишь, и надо было другому призванию следовать.

– А вы что же почитаете своим призванием?

– А не знаю, право, как вам сказать... Я ведь много что происходил, мне довелось быть-с и на конях, и под конями, и в плену был, и воевал, и сам людей бил, и меня увечили, так что, может быть, не всякий бы вынес.

– А когда же вы в монастырь пошли?

– Это недавно-с, всего несколько лет после всей прошедшей моей жизни.

– И тоже призвание к этому почувствовали?

– М... н... н... не знаю, как это объяснить... впрочем, надо полагать, что имел-с.

– Почему же вы это так... как будто не наверное говорите?

– Да потому, что как же наверное сказать, когда я всей моей обширной протекшей жизненности даже обнять не могу?

– Это отчего?

– Оттого-с, что я многое даже не своею волею делал.

– А чьею же?

– По родительскому обещанию.

– И что же такое с вами происходило по родительскому обещанию?

– Всю жизнь свою я погибал, и никак не мог погибнуть.

– Будто так?

– Именно так-с.

– Расскажите же нам, пожалуйста, вашу жизнь.

– Отчего же, что вспомню, то, извольте, могу рассказать, но только я иначе не могу-с, как с самого первоначала.

– Сделайте одолжение. Это тем интереснее будет.

– Ну уж не знаю-с, будет ли это сколько-нибудь интересно, а извольте слушать.

## Глава II

Бывший конэсер Иван Северьяныч, господин Флягин, начал свою повесть так:

– Я родился в крепостном звании и происхожу из дворовых людей графа К. из Орловской губернии. Теперь эти имения при молодых господах расплылись, но при старом графе были очень значительные. В селе Г., где сам граф изволил жить, был огромный, великий домина, флигеля для приезда, театр, особая кегельная галерея, псарня, живые медведи на столбу сидели, сады, свои певчие концерты пели, свои актеры всякие сцены представляли; были свои ткацкие, и всякие свои мастерства содержались; но более всего обращалось внимания на конный завод. Ко всякому делу были приставлены особые люди, но конюшенная часть была еще в особом внимании, и все равно как в военной службе от солдата в прежние времена кантонист происходил, чтобы сражаться, так и у нас от кучера шел кучеренок, чтобы ездить, от конюха – конюшонок, чтобы за лошадьми ходить, а от кормового мужика – кормовик, чтобы с гумна на ворки корм возить. Мой родитель был кучер Северьян, и хотя приходился он не из самых первых кучеров, потому что у нас их было большое множество, но, однако, он шестериком правил и в царский проезд один раз в седьмом номере был и старинною синею ассигнациею жалован. От родительницы своей я в самом юном сиротстве остался и ее не помню, потому как я был у нее молитвенный сын, значит, она, долго детей не имея, меня себе у Бога все выпрашивала и как выпросила, так сейчас же, меня породивши, и умерла, оттого что я произошел на свет с необыкновенною большою головою, так что меня поэтому и звали не Иван Флягин, а просто Голован. Живучи при отце на кучерском дворе, всю жизнь свою я проводил на конюшне, и тут я постиг тайну познания в животном и, можно сказать, возлюбил коня, потому что маленьким еще на четвереньках я у лошадей промеж ног полозил, и они меня не увечили, а подрос, так и совсем с ними спознался. Завод у нас был отдельно, конюшни – отдельно, и мы, конюшенные люди, до завода не касались, а получали оттуда готовых воспитомков и обучали их. У нас у всякого кучера с фореитором были шестерики, и все разных сортов: вятки, казанки, калмыки, битюцкие, донские – все это были из приводных коней, которые по ярмаркам покупались, а то, разумеется, больше было своих, заводских, но про этих говорить не стоит, потому что заводские кони смирные и ни сильного характера, ни фантазии веселой не имеют, а вот эти дикари, это ужасные были звери. Покупает их, бывало, граф прямо целыми косяками, как есть весь табун, дешево, рублей по восьми, по десяти за голову, ну и как скоро мы их домой пригоним, сейчас начинаем их школить. Ужасно противляются. Половина даже, бывало, подохнет, а воспитанию не поддаются: стоят на дворе – все дивятся и даже от стен шарахаются, а все только на небо, как птицы, глазами косят. Даже иногда жалость, глядя на иного, возьмет, потому что видишь, что вот так бы он, кажется, сердечный, и улетел, да крылышек у него нет... И овса или воды из корыта ни за что попервоначалу ни пить, ни есть не станет, и так все сохнет, сохнет, пока изведется совсем и околеет. Иногда этой траты бывает более как на половину того, что купим, а особенно из киргизских. Ужасно они степную волю любят. Ну зато которые оборкаются и останутся жить, из тех тоже немалое число, учивши, покалечить придется, потому что на их дикость одно средство – строгость, но зато уже которые все это воспитание и науку вынесут, так из этих такая отборность выходит, что никогда с ними никакой заводской лошади не сравниться по ездовой добродетели.

Родитель мой, Северьян Иваныч, правил киргизским шестериком, а когда я подрос, так меня к нему в этот же шестерик фореитором посадили. Лошади были жестокие, не то что нынешние какие-нибудь кавалерийские, что для офицеров берут. Мы этих офицерских кофишенками звали, потому что на них нет никакого удовольствия ехать, так как на них офицеры даже могут сидеть, а те были просто зверь, аспид и василиск, все вместе: морды эти одни чего стоили, или оскал, либо ножищи, или гривье... ну то есть, просто сказать, ужась! Устали они

никогда не знали; не только что восемьдесят, а даже и сто и сто пятнадцать верст из деревни до Орла или назад домой таким же манером, это им, бывало, без отдыха нипочем сделать. Как разнесутся, так только гляди, чтобы мимо не пролетели. А мне в ту пору, как я на фореиторскую подседельную сел, было еще всего одиннадцать лет, и голос у меня был настоящий такой, как по тогдашнему приличию для дворянских фореиторов требовалось: самый пронзительный, звонкий и до того продолжительный, что я мог это «ддди-ди-и-и-тт-ты-о-о» завести и полчаса этак звенеть; но в теле своим силами я еще не могуч был, так что дальние пути не мог свободно верхом переносить, и меня еще приседывали к лошади, то есть к седлу и к подпругам, ко всему ремнями умотают и сделают так, что упасть нельзя. Расколотит насмерть, и даже не один раз сомлеешь и чувства потеряешь, а все в своей позиции верхом едешь, и опять, наскучив мотаться, в себя придеешь. Должность нелегкая; за дорогу, бывало, несколько раз такие перемены происходят, то слабеешь, то исправишься, а дома от седла совсем уже как неживого отрешат, положат и станут давать хрен нюхать; ну, а потом привык, и все это нипочем сделалось; еще, бывало, едешь да все норовишь какого-нибудь встречного мужика кнутом по рубaxe вытянуть. Это фореиторское озорство уже известно. Вот этак мы раз и едем с графом в гости. Погода летняя, прекрасная, и граф сидят с собакою в открытой коляске, батюшка четверней правит, а я впереди задуваю, а дорога тут с большака свертывает, и идет особый поворот верст на пятнадцать к монастырю, который называется П... пустынь. Дорожку эту монахи справили, чтобы заманчивее к ним ездить было: преестественно, там; на казенной дороге, нечисть и ракиты, одни корявые прутья торчат; а у монахов к пустыни дорожка в чистоте, разметена вся, и подчищена, и по краям саженными березами обросла, и от тех берез такая зелень и дух, а вдаль полевой вид обширный... Словом сказать – столь хорошо, что вот так бы при всем этом и вскрикнул, а кричать, разумеется, без пути нельзя, так к держусь, скачу; но только вдруг на третьей или четвертой версте, не доезжая монастыря, стало этак клонить под взволочек, и вдруг я увидел тут впереди себя малую точку... что-то ползет по дороге, как ежик. Я обрадовался этому случаю и изо всей силы затянул «дддд-и-и-и-т-т-т-ты-о-о», и с версту все это звучал, и до того разгорелся, что как стали мы нагонять парный воз, на кого я кричал-то, я и стал в стремях подниматься и вижу, что человек лежит на сене на возу, и как его, верно, приятно на свежем поветрии солнышком пригрело, то он, ничего не опасаясь, крепко-прекрепко спит, так сладко вверх спиною раскинулся и даже руки врозь разложил, точно воз обнимает. Я вижу, что уже он не свернет, взял в сторону да, поравнявшись с ним, стоя на стремях, впервые тогда закрипел зубами да как полсну его во всю мочь вдоль спины кнутом. Его лошади как подхватят с возом под гору, а он сразу как взметнется, старенький этакой, вот в таком, как я ноне, в послушничьем колпачке, и лицо какое-то такое жалкое, как у старой бабы, да весь перепуганный, и слезы текут, и ну виться на сене, словно пескарь на сковороде, да вдруг не разобрал, верно, спросонья, где край, да кувырк с воза под колесо и в пыли-то и пополз... в вожжи ногами замотался... Мне, и отцу моему, да и самому графу сначала это смешно показалось, как он кувыркнулся, а тут вижу я, что лошади внизу, у моста, зацепили колесом за надолбу и стали, а он не поднимается и не ворочается... Ближе подъехали, я гляжу, он весь серый, в пыли, и на лице даже носа не значит, а только трещина, и из нее кровь... Граф велели остановиться, сошли, посмотрели и говорят: «Убит». Погрозились мне дома за это выпороть и велели скорей в монастырь ехать. Оттуда людей послали на мост, а граф там с игуменом переговорили, и по осени от нас туда в дары целый обоз пошел с овсом, и с мукою, и с сушеными карасями, а меня отец кнутом в монастыре за сараем по штанам продрал, но настояще пороть не стали, потому что мне, по моей должности, сейчас опять верхом надо было садиться. Тем это дело и кончилось, но в эту же самую ночь приходит ко мне в видении этот монах, которого я засек, и опять, как баба, плачет. Я говорю:

«Чего тебе от меня надо? пошел прочь!»

А он отвечает:

«Ты, – говорит, – меня без покаяния жизни решил».

«Ну, мало чего нет, – отвечаю. – Что же мне теперь с тобой делать? Ведь я это не нарочно. Да и чем, – говорю, – тебе теперь худо? Умер ты, и все кончено».

«Кончено-то, – говорит, – это действительно так, и я тебе очень за это благодарен, а теперь я пришел от твоей родной матери сказать тебе, что знаешь ли ты, что ты у нее *моленный сын?*»

«Как же, – говорю, – слышал я про это, бабушка Федосья мне про это не раз сказывала».

«А знаешь ли, – говорит, – ты еще и то, что ты *сын обещанный?*»

«Как это так?»

«А так, – говорит, – что ты Богу обещан».

«Кто же меня ему обещал?»

«Мать твоя».

«Ну так пускай же, – говорю, – она сама придет мне про это скажет, а то ты, может быть, это выдумал».

«Нет, я, – говорит, – не выдумывал, а ей прийти нельзя».

«Почему?»

«Так, – говорит, – потому, что у нас здесь не то, что у вас на земле: здешние не все говорят и не все ходят, а кто чем одарен, тот то и делает. А если ты хочешь, – говорит, – так я тебе дам знамение в удостоверение».

«Хочу, – отвечаю, – только какое же знамение?»

«А вот, – говорит, – тебе знамение, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая гибель, и ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь в чернецы».

«Чудесно, – отвечаю, – согласен и ожидаю».



Он и скрылся, а я проснулся и про все это позабыл и не чаю того, что все эти погибели сейчас по ряду и начнутся. Но только через некоторое время поехали мы с графом и с графинею в Воронеж, – к новоявленным мощам маленькую графиньку косолапую на исцеление туда везли, – и остановились в Елецком уезде, в селе Крутом, лошадей кормить, я и опять под колодой уснул, и вижу – опять идет тот монашек, которого я решил, и говорит:

«Слушай, Голованька, мне тебя жаль, просись скорей у господ в монастырь – они тебя пустят».

Я отвечаю:

«Это с какой стати?»

А он говорит:

«Ну, гляди, сколько ты иначе зла претерпишь».

Думаю, ладно; надо тебе что-нибудь каркать, когда я тебя убил, и с этим встал, запряг с отцом лошадей, и выезжаем, а гора здесь прекрутая-крутищая, и сбоку обрыв, в котором тогда невесть что народу погибало. Граф и говорит:

«Смотри, Голован, осторожнее».

А я на это ловок был, и хоть вожжи от дышловых, которым надо спускать, в руках у кучера, но я много умел отцу помогать. У него дышловики были сильные и опористые: могли так спускать, что просто хвостом на землю садились, но один из них, подлец, с астрономией был – как только его сильно потянешь, он сейчас голову кверху дерет и прах его знает куда на небо созерцает. Эти астрономы в корню – нет их хуже, а особенно в дышле они самые опасные, за конем с такою повадкою фореитор завсегда смотри, потому что астроном сам не зрит, как тычет ногами, и невесть куда попадает. Все это я, разумеется, за своим астрономом знал и всегда помогал отцу: своих подседельную и подручную, бывало, на левом локте поводами держу и так их ставлю, что они хвостами дышловым в самую морду приходятся, а дышло у них промежду крупов, а у самого у меня кнут всегда наготове, у астронома перед глазами, и чуть вижу, что он уже очень в небо полез, я его по храпе, и он сейчас морду спустит, и отлично съедем. Так и на этот раз: спускаем экипаж, и я верчусь, знаете, перед дышлом и кнутом астронома остепеняю, как вдруг вижу, что уж он ни отцовых вожжей, ни моего кнута не чувствует, весь рот в крови от удилов и глаза выворотил, а сам я вдруг слышу, сзади что-то заскрипело, да хлоп, и весь экипаж сразу так и посунулся... Тормоз лопнул! Я кричу отцу: «Держи! держи!» И он сам орет: «Держи! держи!» А уж чего держать, когда весь шестерик как прокаженные несутся и сами ничего не видят, а перед глазами у меня вдруг что-то стрекнуло, и смотрю, отец с козел долой летит... вожжа оборвалась... А впереди та страшная пропасть... Не знаю, жалко ли мне господ или себя стало, но только я, видя неминуемую гибель, с подседельной бросился прямо на дышло и на конце повис... Не знаю опять, сколько тогда во мне весу было, но только на перевесе ведь это очень тяжело весит, и я дышловиков так сдушил, что они захрипели и... гляжу, уже моих передовых нет, как отрезало их, а я вишу над самою пропастью, а экипаж стоит и уперся в коренных, которых я дышлом подавил.

Тут только я опомнился и пришел в страх, и руки у меня оторвались, и я полетел и ничего уже не помню. Очнулся я тоже не знаю через сколько времени и вижу, что я в какой-то избе и здоровый мужик говорит мне:

«Ну что, неужели ты, малый, жив?»

Я отвечаю:

«Должно быть, жив».

«А помнишь ли, – говорит, – что с тобою было?»

Я стал припоминать и вспомнил, как нас лошади понесли и я на конец дышла бросился и повис над ямищей; а что дальше было – не знаю.

А мужик и улыбается:

«Да и где же, – говорит, – тебе это знать. Туда, в пропасть, и кони-то твои передовые заживо не долетели – расшиблись, а тебя это словно какая невидимая сила спасла: как на глиняну глыбу сорвался, упал, так на ней вниз как на салазках и скатился. Думали, мертвый совсем, а глядим – ты дышишь, только воздухом дух омурило. Ну, а теперь, – говорит, – если можешь, вставай, поспешай скорее к угоднику: граф деньги оставил, чтобы тебя, если умрешь, схоронить, а если жив будешь, к нему в Воронеж привезть».

Я и поехал, но только всю дорогу ничего не говорил, а слушал, как этот мужик, который меня вез, все на гармонии «барыню» играл.

Как мы приехали в Воронеж, граф призвал меня в комнаты и говорит графинюшке:

«Вот, – говорит, – мы, графинюшка, этому мальчишке спасением своей жизни обязаны».

Графиня только головою закачала, а граф говорит:

«Проси у меня, Голован, что хочешь, – я все тебе сделаю».

Я говорю:

«Я не знаю, чего просить!»

А он говорит:

«Ну, чего тебе хочется?»

А я думал-думал да говорю:

«Гармонию».

Граф засмеялся и говорит:

«Ну, ты взаправду дурак, а впрочем, это само собою, я сам, когда придет время, про тебя вспомню, а гармонию, – говорит, – ему сейчас же купить».

Лакей сходил в лавки и приносит мне на конюшню гармонию.

«На, – говорит, – играй».

Я было ее взял и стал играть, но только вижу, что ничего не умею, и сейчас ее бросил, а потом ее у меня странницы на другой день из-под сарая и украли.

Мне надо было бы этим случаем графской милости пользоваться да тогда же, как монах советовал, в монастырь проситься; а я, сам не знаю зачем, себе гармонию выпросил, и тем первое самое призвание опроверг, и оттого пошел от одной стражбы к другой, все более и более претерпевая, но нигде не погиб, пока все мне монахом в видении предреченное в настоящем житейском исполнении оправдалось за мое недоверие.



### Глава III

– Не успел я, по сем благодетельствованию своих господ, вернуться с ними домой на новых лошадях, коих мы в Воронеже опять шестерик собрали, как прилучилось мне завести у себя в конюшне на полочке хохлатых голубей – голубя и голубочку. Голубь был глинистого пера, а голубочка беленькая и такая красноногенькая, прехорошенькая!.. Очень они мне нравились: особенно, бывало, когда голубь ночью воркует, так это приятно слушать, а днем они между лошадей летают и в ясли садятся, корм клюют и сами с собою целуются... Утешно на все на это молодому ребенку смотреть.

И пошли у них после этого целования дети; одну пару вывели, и опять эти растут, а они целовались-целовались, да и опять на яички сели и еще вывели... Маленькие такие это голубяточки, точно в шерсти, а пера нет, и желтые, как бывают ядрышки на траве, что зовут «кошачьи просвирки», а носы притом хуже, как у черкесских князей, здоровенные... Стал я их, этих голубят, разглядывать и, чтобы их не помять, взял одного за носик и смотрел, смотрел на него и засмотрелся, какой он нежный, а голубь его у меня все отбивает. Я с ним и забавлялся – все его этим голубенком дразню; да потом как стал пичужку назад в гнездо класть, а он уже и не дышит. Этакая досада; я его и в горстях-то грел и дышал на него, все оживить хотел; нет, пропал да и полно! Я рассердился, взял да и швырнул его вон за окно. Ну ничего; другой в гнезде остался, а этогодохлого, откуда ни возмись, белая кошка какая-то мимо бежала, и подхватила, и помчала. И я ее, эту кошку, еще хорошо заметил, что она вся белая, а на лобочке, как шапочка, черное пятнышко. Ну да думаю себе, прах с ней – пусть она мертвого ест. Но только ночью я сплю и вдруг слышу, на полочке над моей кроватью голубь с кем-то сердито бьется. Я вскочил и гляжу, а ночь лунная, и мне видно, что это опять та же кошечка белая уже другого, живого моего голубенка тащит.

«Ну, – думаю, – нет, зачем же, мол, это так делать? – да вдгонку за нею и швырнул сапогом, но только не попал, – так она моего голубенка унесла и, верно, где-нибудь съела. Осиротели мои голубки, но недолго поскучали и начали опять целоваться, и опять у них парка детей готовы, а та проклятая кошка опять как тут... Лихо ее знает, как это она все это наблюдала, но только гляжу я, один раз она среди белого дня опять голубенка волочит, да так ловко, что мне и швырнуть-то за ней нечем было. Но зато же я решился ее пробрать и настроил в окне такой силок, что чуть она ночью морду показала, тут ее сейчас и прихлопнуло, и она сидит и жалится, мяучит. Я ее сейчас из силка вынул, воткнул ее мордою и передними лапами в голенище, в сапог, чтобы она не царапалась, а задние лапки вместе с хвостом забрал в левую руку, в рукавицу, а в правую кнут со стены снял, да и пошел ее на своей кровати учить. Кнутов, я думаю, сотни полторы я ей закатил, и то изо всей силы, до того, что она даже и биться перестала. Тогда я ее из сапога вынул и думаю: издохла или не издохла? Сем, думаю, испробовать, жива она или нет? и положил я ее на порог да топориком хвост ей и отсек: она этак «мая», вся вздрогнула и перекутилась раз десять, да и побежала.

«Хорошо, – думаю, – теперь ты сюда небось в другой раз на моих голубят не пойдешь; а чтобы ей еще страшнее было, так я наутро взял да и хвост ее, который отсек, гвоздиком у себя над окном снаружи приколотил и очень этим был доволен. Но только так через час или не более как через два, смотрю, вбегает графинина горничная, которая отроду у нас на конюшне никогда не была, и держит над собой в руке зонтик, а сама кричит:

«Ага, ага! вот это кто! вот это кто!»

Я говорю:

«Что такое?»

«Это ты, – говорит, – Зозиньку изувечил? Признавайся: это ведь у тебя ее хвостик над окном приколотен?»

Я говорю:

«Ну так что же такое за важность, что хвостик приколочен?»

«А как же ты, – говорит, – это смел?»

«А она, мол, как смела моих голубят есть?»

«Ну, важное дело твои голубята!»

«Да и кошка, мол, тоже небольшая барыня».

Я уже, знаете, на возрасте-то поругиваться стал.

«Что, – говорю, – за штука такая кошка».

А та стрекоза:

«Как ты эдак смеешь говорить: ты разве не знаешь, что это моя кошка и ее сама графиня ласкала», – да с этим ручкою хватить меня по щеке, а я, как сам тоже с детства был скор на руку, долго не думая, схватил от дверей грязную метлу, да ее метлою по талии...

Боже мой, что тут поднялось! Повели меня в контору к немцу-управителю судить, и он рассудил, чтобы меня как можно жесточе выпороть и потом с конюшни долой и в аглицкий сад для дорожки молотком камешки бить... Отодрали меня ужасно жестоко, даже подняться я не мог, и к отцу на рогожке снесли, но это бы мне ничего, а вот последнее осуждение, чтобы стоять на коленях да камешки бить... это уже домучило меня до того, что я думал-думал, как себе помочь, и решился с своею жизнью докончить. Припас я себе крепкую сахарную веревочку, у лакейчонка ее выпросил, и пошел вечером выкупался, а оттудова в осиновый лесок за огуменником, стал на колены, помолился за вся христианы, привязал ту веревочку за сук, затравил петлю и всунул в нее голову. Осталось скакнуть, да и вся б недолга была... Я бы все это от своего характера пресвободно и исполнил, но только что размахнулся да соскочил с сука и повис, как, гляжу, уже я на земле лежу, а передо мною стоит цыган с ножом и смеется – белые-пребелые зубы, да так ночью середь черной морды и сверкают.

«Что это, – говорит, – ты, батрак, делаешь?»

«А тебе, мол, что до меня за надобность?»

«Или, – пристаёт, – тебе жить худо?»

«Видно, – говорю, – не сахарно».

«Так чем своей рукой вешаться, пойдем, – говорит, – лучше с нами жить, авось иначе повиснешь».

«А вы кто такие и чем живете? Вы ведь небось воры?»

«Воры, – говорит, – мы и воры и мошенники».

«Да; вот видишь, – говорю, – а при случае, мол, вы, пожалуй, небось и людей режете?»

«Случается, – говорит, – и это действуем».

Я подумал-подумал, что тут делать: дома завтра и послезавтра опять все то же самое, стой на дорожке на коленях да тюп да тюп молоточком камешки бей, а у меня от этого рукомесла уже на коленках наросты пошли и в ушах одно слышание было, как надо мною все насмеются, что осудил меня вражий немец за кошкин хвост целую гору камня перемусорить. Смеются все. «А еще, – говорят, – спаситель называешься: господам жизнь спас». Просто терпения моего не стало, и, взгадав все это, что если не удавиться, то опять к тому же надо вернуться, махнул я рукою, заплакал и пошел в разбойники.

## Глава IV

– Тут этот хитрый цыган не дал мне опомниться и говорит:

«Чтоб я, – говорит, – тебе поверил, что ты назад не уйдешь, ты должен мне сейчас из барской конюшни пару коней вывести, да бери коней таких, самых наилучших, чтобы мы на них до утра далеко могли ускакать».

Я закручинился: страсть как мне не хотелось воровать; однако, видно, назвавшись груздем, полезешь и в кузов; и я, зная в конюшни все ходы и выходы, без труда вывел за гумно пару лихих коней, кои совсем устали не ведали, а цыган еще до того сейчас достал из кармана на шнурочке волчьи зубы и повесил их и одному и другому коню на шеи, и мы с цыганом сели на них и поехали. Лошади, чуя на себе волчью кость, так неслись, что и сказать нельзя, и мы на них к утру стали за сто верст под городом Карачевом. Тут мы этих коней враз продали какому-то дворнику, взяли деньги и пришли к одной речке и стали делиться. За коней мы взяли триста рублей, разумеется по-тогдашнему, на ассигнацию, а цыган мне дает всего один серебряный целковый и говорит:

– Вот тебе твоя доля.

Мне это обидно показалось.

«Как, – говорю, – я же тех лошадей крал и за то больше тебя пострадать мог, а за что же моя доля такая маленькая?»

«Потому, – отвечает, – что такая выросла».

«Это, – говорю, – глупости: почему же ты себе много берешь?»

«А опять, – говорит, – потому, что я мастер, а ты еще ученик».

«Что, – говорю, – ученик, – ты это все врешь!» Да и пошло у нас с ним слово за слово, и оба мы поругались. А наконец я говорю:

«Я с тобою не хочу дальше идти, потому что ты подлец».

А он отвечает:

«И отстань, брат, Христа ради, потому что ты беспачпортный, еще с тобою спутаешься».

Так мы и разошлись, и я было пошел к заседателю, чтобы объявиться, что я сбеглый, но только рассказал я эту свою историю его писарю, а тот мне и говорит:

«Дурак ты, дурак: на что тебе объявляться; есть у тебя десять рублей?»

«Нет, – говорю, – у меня один целковый есть, а десяти рублей нету».

«Ну так, может быть, еще что-нибудь есть, может быть, серебряный крест на шее, или вон это что у тебя в ухе: серьга?»

«Да, – говорю, – это сережка».

«Серебряная?»

«Серебряная, и крест, мол, тоже имею от Митрофания серебряный».

«Ну, скидавай, – говорит, – их скорее и давай их мне, я тебе отпускной вид напишу, и уходи в Николаев, там много людей нужно, и страсть что туда от нас бродяг бежит».

Я ему отдал целковый, крест и сережку, а он мне вид написал и заседателю печать приложил и говорит:

«Вот за печать с тебя надо бы прибавку, потому что я так со всех беру, но только уже жалею твою бедность и не хочу, чтобы моих рук виды не в совершенстве были. Ступай, – говорит, – и кому еще нужно – ко мне посылай».

«Ладно, – думаю, – хорош милостивец: крест с шеи снял, да еще и жалеет». Никого я к нему не посылал, а все только шел Христовым именем без грошика медного.

Прихожу в этот город и стал на торжок, чтобы наниматься. Народу наемного самая малость вышла – всего три человека, и тоже все, должно быть, точно такие, как я, полубродяжки, а нанимать выбежало много людей, и все так нас нарасхват и рвут, тот к себе, а этот

на свою сторону. На меня напал один барин, огромный-преогромный, больше меня, и прямо всех от меня отпихнул и схватил меня за обе руки и поволок за собою: сам меня ведет, а сам других во все стороны кулаками расталкивает и преподло бранится, а у самого на глазах слезы. Привел он меня в домишко, невесть из чего наскоро сколоченный, и говорит:

«Скажи правду: ты ведь беглый?»

Я говорю:

«Беглый».

«Вор, – говорит, – или душегубец, или просто бродяга?»

Я отвечаю:

«На что вам это расспрашивать?»

«А чтобы лучше знать, к какой ты должности годен».

Я рассказал все, отчего я сбежал, а он вдруг кинулся меня целовать и говорит:

«Такого мне и надо, такого мне и надо! Ты, – говорит, – верно, если голубят жалел, так ты можешь мое дитя выходить: я тебя в няньки беру».

Я ужаснулся.

«Как, – говорю, – в няньки? я к этому обстоятельству совсем не сроден».

«Нет, это пустяки, – говорит, – пустяки: я вижу, что ты можешь быть нянькой; а то мне беда, потому что у меня жена с ремонтером отсюда с тоски сбежала и оставила мне грудную дочку, а мне ее кормить некогда и нечем, так ты ее мне выкормишь, а я тебе по два целковых в месяц стану жалованья платить».

«Помилуйте, – отвечаю, – тут не о двух целковых, а как я в этой должности справлюсь?»

«Пустяки, – говорит, – ведь ты русский человек? Русский человек со всем справится».

«Да, что же, мол, хоть я и русский, но ведь я мужчина, и чего нужно, чтобы грудное дитя воспитывать, тем не одарен».

«А я, – говорит, – на этот счет тебе в помощь у жида козу куплю: ты ее дои и тем молочком мою дочку воспитывай».

Я задумался и говорю:

«Конечно, мол, с козой отчего дитя не воспитать, но только все бы, – говорю, – кажется, вам женщину к этой должности лучше иметь».

«Нет, ты мне про женщин, пожалуйста, – отвечает, – не говори: из-за них-то тут все истории и поднимаются, да и брать их неоткуда, а ты если мое дитя нянчить не согласишься, так я сейчас казаков позову и велю тебя связать да в полицию, а оттуда по пересылке отправят. Выбирай теперь, что тебе лучше: опять у своего графа в саду на дорожке камни щелкать или мое дитя воспитывать?»

Я подумал: нет, уже назад не пойду, и согласился остаться в няньках. В тот же день мы купили у жида белую козу с козленочком. Козленочка я заколол, и мы его с моим барином в лапше съели, а козочку я подоил и ее молочком начал дитя поить. Дитя было маленькое и такое поганое, жалкое: все пищит. Барин мой, отец его, из полячков был чиновник и никогда, прохвостик, дома не сидел, а все бегал по своим товарищам в карты играть, а я один с этой моей воспитомкой, с девчурочкой, и страшно я стал к ней привыкать, потому что скука для меня была тут несносная, и я от нечего делать все с ней упражнялся. То положу дитя в корытце да хорошенько ее вымою, а если где на кожечке сыпка зацветет, я ее сейчас мучкой подсыплю; или головенку ей расчесываю, или на коленях качаю ее, либо, если дома очень соскучусь, суну ее за пазуху да пойду на лиман белье полоскать, – и коза-то и та к нам привыкла, бывало, за нами тоже гулять идет. Так я дожил до нового лета, и дитя мое подросло и стало дыбки стоять, но замечаю я, что у нее что-то ножки колесом идут. Я было на это барину показал, но он ничего на то не уважил и сказал только:

«Я, – говорит, – тут чем причинен? снеси ее лекарю, покажи: пусть посмотрит».

Я понес, а лекарь говорит:

«Это аглицкая болезнь, надо ее в песок сажать».

Я так и начал исполнять: выбрал на бережку лимана такое местечко, где песок есть, и как погожий теплый день, я заберу и козу и девочку и туда с ними удаляюсь. Разгребу руками теплый песочек и закопаю туда девочку по пояс и дам ей палочек играть и камушков, а коза наша вокруг нас ходит, травку щиплет, а я сижу, сижу, руками ноги обхвативши, и засну, и сплю.

По целым дням таким манером мы втроем одни проводили, и это мне лучше всего было от скуки, потому что скука, опять повторю, была ужасная, и особенно мне тут весною, как я стал девочку в песок закапывать, да над лиманом спать, пошли разные бестолковые сны. Как усну, а лиман рокочет, а со степи теплый ветер на меня несет, так точно с ним будто что-то плывет на меня чародейное, и нападает страшное мечтание: вижу какие-то степи, коней, и все меня будто кто-то зовет и куда-то манит: слышу, даже имя кричит: «Иван! Иван! иди, брат Иван!» Встрепенешься, инда вздрогнешь и плюнешь: тьфу, пропасти на вас нет, чего вы меня вскрикались! Оглянешься кругом: тоска; коза уже отойдет далеко, бродит, травку щипет, да дитя закопано в песке сидит, а больше ничего... Ух, как скучно! пустынь, солнце да лиман, и опять заснешь, а оно, это течение с поветрием, опять в душу лезет и кричит: «Иван! пойдём, брат Иван!» Даже выругаешься, скажешь: «Да покажись же ты, лихо тебя возьми, кто ты такой, что меня так зовешь?» И вот я так раз озлобился и сижу да гляжу вполсна за лиман, и оттоль как облачко легкое поднялось и плывет, и прямо на меня, думаю: тпру, куда ты, благое, еще вымочишь! Ан вдруг вижу: это надо мною стоит тот монах с бабьим лицом, которого я давно, форейтором бывши, кнутом засек. Я говорю: «Тпружи! пошел прочь!» А он этак ласково звенит: «Пойдем, Иван, брат, пойдём! тебе еще много надо терпеть, а потом достигнешь». Я его во сне выругал и говорю: «Куда я с тобой пойду и чего еще достигать буду». А он вдруг опять облаком сделался и сквозь себя показал мне и сам не знаю что: степь, люди такие дикие, сарацины, как вот бывают при сказках в Еруслане и в Бове Королевиче; в больших шапках лохматых и с стрелами, на страшных диких конях. И с этим, что вижу, слышались мне и гогот, и ржанье, и дикий смех, а потом вдруг вихорь... взмело песок тучею, и нет ничего, только где-то тонко колокол тихо звонит, и весь как алою зарею облитый большой белый монастырь по вершине показывается, а по стенам крылатые ангелы с золотыми копьями ходят, а вокруг море, и как который ангел по щиту копьём ударит, так сейчас вокруг всего монастыря море всколыхнется и заплещет, а из бездны страшные голоса вопиют: «Свят!»

«Ну, – думаю, – опять это мне про монашество пошло! – и с досадою проснулся и в удивлении вижу, что над моею барышней кто-то стоит на песку на коленях, самого нежного вида, и река рекой разливается-плачет».

Я долго на это смотрел, потому что все думал: не длится ли мне это видение, но потом вижу, что оно не исчезает, я и встал и подхожу: вижу – дама девочку мою из песку выкопала, и схватила ее на руки, и целует, и плачет. Я спрашиваю ее: «Что надо?»

А она ко мне и бросилась и жмет дитя к груди, а сама шепчет:

«Это мое дитя, это дочь моя, это дочь моя!»

Я говорю:

«Ну так что же в этом такое?»

«Отдай, – говорит, – мне ее».

«С чего же ты это, – говорю, – взяла, что я ее тебе отдам?»

«Разве тебе, – плачет, – ее не жаль? видишь, как она ко мне жмется».

«Жаться, мол, она глупый ребенок – она тоже и ко мне жмется, а отдать я ее не отдам».

«Почему?»

«Потому, мол, что она мне на соблюдение поверена – вон и коза с нами ходит, а я дитя должен отцу приносить».

Она, эта барынька, начала плакать и руки ломать.

«Ну, хорошо, – говорит, – ну, не хочешь дитя мне отдать, так, по крайней мере, не скажывай, – говорит, – моему мужу, а твоему господину, что ты меня видел, и приходи завтра опять сюда на это самое место с ребенком, чтобы я его еще поласкать могла».

«Это, мол, другое дело, – это я обещаю и исполню».

И точно, я ничего про нее своему барину не сказал, а наутро взял козу и ребенка и пошел опять к лиману, а барыня уже ждет. Все в ямочке сидела, а как нас увидела, выскочила, и бежит, и плачет, и смеется, и в обеих ручках дитю игрушечки сует, и даже на козу на нашу колокольчик на красной суконке повесила, а мне трубку, и кисет с табаком, и расческу.

«Кури, – говорит, – пожалуйста, эту трубочку, а я буду дитя нянчить».

И таким манером пошли у нас тут над лиманом свидания: барыня все с дитем, а я сплю, а порой она мне начнет рассказывать, что она того... замуж в своем месте за моего барина насильно была выдана... злою мачехою и того... этого мужа своего она не того... говорит, никак не могла полюбить. А того... этого... другого-то, ремонтера-то... что ли... этого любит и жалуется, что против воли, говорит, своей я ему... предана. Потому муж мой, как сам, говорит, знаешь, неаккуратной жизни, а этот с этими... ну, как их?... с усиками, что ли, прах его знает, и очень чисто, говорит, он завсегда одевается, и меня жалеет, но только же опять я, говорит, со всем с этим все-таки не могу быть счастлива, потому что мне и этого дитя жаль. А теперь мы, говорит, с ним сюда приехали и стоим здесь на квартире у одного у его товарища, но я живу под большим опасением, чтобы мой муж не узнал, и мы скоро уедем, и я опять о дите страдать буду.

«Ну что же, мол, делать: если ты, презрев закон и религию, свой обряд изменила, то должна и пострадать».

А она начнет плакать, и от одного дня раз от разу больше и жалостнее стала плакать, и мне жалобами докучает, и вдруг ни с того ни с сего стала все мне деньги сулить. И наконец пришла последний раз прощаться и говорит:

«Послушай, Иван (она уже имя мое знала), послушай, – говорит, – что я тебе скажу: нынче, – говорит, – он сам сюда к нам придет».

Я спрашиваю:

«Кто это такой?»

Она отвечает: «Ремонтер».

Я говорю:

«Ну, так что ж мне за причина?»

А она повествует, что будто он сею ночью страсть как много денег в карты выиграл и сказал, что хочет ей в удовольствие мне тысячу рублей дать за то, чтобы я то есть ей ее дочку отдал.

«Ну, уж вот этого, – говорю, – никогда не будет».

«Отчего же, Иван? отчего же? – пристаёт. – Неужто тебе меня и ее не жаль, что мы в разлуке?»

«Ну, мол, жаль или не жаль, а только я себя не продавал ни за большие деньги, ни за малые, и не продам, а потому все ремонтеровы тысячи пусть при нем остаются, а твоя дочка при мне».

Она плакать, а я говорю:

«Ты лучше не плачь, потому что мне все равно».

Она говорит:

«Ты бессердечный, ты каменный».

А я отвечаю:

«Совсем, мол, я не каменный, а такой же, как все, костяной да жильный, а я человек должностной и верный: взялся хранить дитя, и берегу его».

Она убеждает, что ведь посуды, говорит, и самому же дитяти у меня лучше будет!

«Опять-таки, – отвечаю, – это не мое дело».

«Неужто же, – вскрикивает она, – неужто же мне опять с дитем моим должно расставаться?»

«А что же, – говорю, – если ты, презрев закон и религию...»

Но только не договорил я этого, что хотел сказать, как вижу, к нам по степи легкий улан идет. Тогда полковые еще как должно ходили, с форсом, в настоящей военной форме, не то что как нынешние, вроде писарей. Идет этот улан-ремонтёр, такой осанистый, руки в боки, а шинель широко наопашку несет... силы в нем, может быть, и нисколько нет, а форсисто... Гляжу на этого гостя и думаю: «Вот бы мне отлично с ним со скуки поиграть». И решил, что чуть если он ко мне какое слово заговорит, я ему непременно как ни можно хуже согрублю, и авось, мол, мы с ним здесь, Бог даст, в свое удовольствие подеремся. Это, восторгаюсь, будет чудесно, и того, что мне в это время говорит и со слезами моя барынька лепечет, уже не слушаю, а только играть хочу.

## Глава V

– Только, решивши себе этакую потеху добыть, я думаю: как бы мне лучше этого офицера раздражить, чтобы он на меня нападать стал? и взял я сел, вынул из кармана гребень и зачал им себя будто в голове чесать; а офицер подходит и прямо к той своей барыньке.

Она ему – та-та-та, та-та: все, значит, о том, что я ей дитя не даю.

А он ее по головке гладит и говорит:

«Ничего это, душенька, ничего: я против него сейчас средство найду. Деньги, – говорит, – раскинем, у него глаза разбежятся; а если и это средство не подействует, так мы просто отнимем у него ребенка», – и с этим самым словом подходит ко мне и подает мне пучок ассигнаций, а сам говорит: «Вот, – говорит: – тут ровно тысяча рублей, – отдай нам дитя, а деньги бери и ступай куда хочешь».

А я нарочно невежничая, не скоро ему отвечаю: прежде встал потихонечку; потом гребень на поясок повесил, откашлянулся и тогда молвил:

«Нет, – говорю, – это твое средство, ваше благородие, не подействует», – а сам взял, вырвал у него из рук бумажки, поплевал на них да и бросил, говорю:

«Тубо, – пиль, апорт, подними!»

Он огорчился, весь покраснел, да на меня; но мне, сами можете видеть мою комплекцию, – что же мне с форменным офицером долго справляться: я его так слегка пихнул, он и готов: полетел и шпоры вверх задрал, а сабля на сторону отогнулася. Я сейчас топнул, на эту саблю его ногой наступил и говорю:

«Вот тебе, – говорю, – и храбрость твою под ногой придавлю».

Но он хоть силой плох, но отважный был офицерик: видит, что сабельки ему у меня уже не отнять, так распоясал ее да с кулачками ко мне борзо кидается... Разумеется, и эдак он от меня ничего, кроме телесного огорчения, для себя не получил, но понравилось мне, как он характером своим был горд и благороден: я не беру его денег, и он их тоже не стал подбирать.

Как перестали мы драться, я кричу:

«Возьми же, ваше сиятельство, свои деньги подбери, на прогоны годится!»

Что же вы думаете: ведь не поднял, а прямо бежит и за дитя хватается; но, разумеется, он берет дитя за руку, а я сейчас же хват за другую и говорю:

«Ну, тяни его: на чью половину больше оторвется».

Он кричит:

«Подлец, подлец, изверг!» – и с этим в лицо мне плюнул и ребенка бросил, а уже только эту барыньку увлекает, а она в отчаянии прежалобно вопит и, насильно влекома, за ним хотя следует, но глаза и руки сюда ко мне и к дите простирает... и вот вижу я и чувствую, как она, точно живая, пополам рвется, половина к нему, половина к дитяти... А в эту самую минуту от города, вдруг вижу, бежит мой барин, у которого я служу, и уже в руках пистолет, и он все стреляет из того пистолета да кричит:

«Держи их, Иван! Держи!»

«Ну, как же, – думаю себе, – так я тебе и стану их держать? Пускай любятся!» – да догнал барыньку с уланом, даю им дитя и говорю:

«Нате вам этого пострела! Только уже теперь и меня, – говорю, – увозите, а то он меня правосудию сдаст, потому что я по незаконному паспорту».

Она говорит:

«Уедем, голубчик Иван, уедем, будем с нами жить».

Так мы и ускакали и девчурку, мою воспитомку, с собой увезли, а тому моему барину коза, да деньги, да мой паспорт остались.



Всю дорогу я с этими своими с новыми господами все на козлах на тарантасе, до самой Пензы еду, сидел и думал: хорошо ли же это я сделал, что я офицера бил? ведь он присягу принимал, и на войне с саблею отечество защищает, и сам государь ему, по его чину, может быть, «вы» говорит, а я, дурак, его так обидел!.. А потом это передумаю, начну другое думать: куда теперь меня еще судьба определит; а в Пензе тогда была ярмарка, и улан мне говорит:

«Послушай, Иван, ты ведь, я думаю, знаешь, что мне тебя при себе держать нельзя».

Я говорю:

«Почему же?»

«А потому, – отвечает, – что я человек служащий, а у тебя никакого паспорта нет».

«Нет, у меня был, – говорю, – паспорт, только фальшивый».

«Ну, вот видишь, – отвечает, – а теперь у тебя и такого нет. На же вот тебе двести рублей денег на дорогу и ступай с Богом куда хочешь».

А мне, признаюсь, ужасно как неохота была никуда от них идти, потому что я то дитя любил; но делать нечего, говорю:

«Ну, прощайте, – говорю, – покорно вас благодарю на вашем награждении, но только еще вот что».

«Что, – спрашивает, – такое?»

«А то, отвечаю, – что я перед вами виноват, что дрался с вами и грубил».

Он рассмеялся и говорит:

«Ну, что это, Бог с тобой, ты добрый мужик».

«Нет-с, это, – отвечаю, – мало ли что добрый, это так нельзя, потому что это у меня может на совести остаться: вы защитник отечества, и вам, может быть, сам государь «вы» говорил».

«Это, – отвечает, – правда: нам, когда чин дают, в бумаге пишут: «Жалуем *вас* и повелеваем *вас* почитать и уважать».

«Ну, позвольте же, – говорю, – я этого никак дальше снести не могу...»

«А что же, – говорит, – теперь с этим делать. Что ты меня сильнее и поколотил меня, того назад не вынешь».

«Вынуть, – говорю, – нельзя, а по крайности, для облегчения моей совести, как вам угодно, а извольте сколько-нибудь раз меня сами ударить», – и взял обе щеки перед ним надул.

«Да за что же? – говорит, – за что же я тебя стану бить?»

«Да так, – отвечаю, – для моей совести, – чтобы я не без наказания своего государя офицера оскорбил».

Он засмеялся, а я опять надул щеки, как можно полнее, и опять стою.

Он спрашивает:

«Чего же ты это надуваешься, зачем гримасничаешь?»

А я говорю:

«Это я по-солдатски, по артикулу приготовился: извольте, – говорю, – меня с обеих сторон ударить», – и опять щеки надул; а он вдруг вместо того чтобы меня бить, сорвался с места и ну целовать меня и говорит:

«Полно, Христа ради, Иван, полно: ни за что на свете я тебя ни разу не ударю, а только уходи поскорее, пока Машеньки с дочкой дома нет, а то они по тебе очень плакать будут».

«А! это, мол, иное дело, зачем их огорчать?»

И хоть не хотелось мне отходить, но делать нечего: так и ушел поскорей, не прощавшись, и вышел за ворота, и стал, и думаю:

«Куда я теперь пойду?» И взаправду сколько времени прошло с тех пор, как я от господ бежал и бродяжу, а все я нигде места под собой не согрею... «Шабаш, – думаю, – пойду в полицию и объявлюсь, но только, – думаю, – опять теперь то нескладно, что у меня теперь деньги есть, а в полиции их все отберут: дай же хоть что-нибудь из них потрачу, хоть чаю с кренделями в трактире попью в свое удовольствие». И вот я пошел на ярмарку в трактир, спросил

чаю с кренделями и долго пил, а потом вижу, дольше никак невозможно продолжать, и пошел походить. Выхожу за Суру за реку на степь, где там стоят конские коляски, и при них же тут и татары в кибитках. Все кибитки одинаковые, но одна пестрая-препестрая, а вокруг нее много разных господ занимаются, ездовых коней пробуют. Разные – и штатские, и военные, и помещики, которые приехали на ярмарку, все стоят, трубки курят, а посередине их на пестрой кошме сидит тонкий, как жердь, длинный степенный татарин в штучном халате и в золотой тюбетейке. Я оглядаюсь и, видя одного человека, который при мне в трактире чай пил, спрашиваю его: что это такой за важный татарин, что он один при всех сидит? А мне тот человек отвечает:

«Нешто ты, – говорит, – его не знаешь: это хан Джангар».

«Что, мол, еще за хан Джангар?»

А тот и говорит: «Хан Джангар, – говорит, – первый степной коневод, его табуны ходят от самой Волги до самого Урала во все Рынь-пески, и сам он, этот хан Джангар, в степи все равно что царь».

«Разве, – говорю, – эта степь не под нами?»

«Нет; она, – отвечает, – под нами, но только нам ее никак достать нельзя, потому что там до самого Каспия либо солончаки, либо одна трава да птицы по поднебесью выются, и чиновнику там совсем взять нечего, вот по этой причине, – говорит, – хан Джангар там и царюет, и у него там, в Рынь-песках, говорят, есть свои шихи, и ших-зады, и моло-зады, и мамы, и азии, и дербыши, и уланы, и он их всех, как ему надо, наказывает, а они тому рады повиноваться».

Я эти слова слушаю, а сам смотрю, что в то самое время один татарчонок пригонил перед этого хана небольшую белую кобылку и что-то залопотал; а тот встал, взял кнут на длинном кнутовище и стал прямо против кобылицыной головы и кнут ей ко лбу вытянул и стоит. Но ведь как, я вам доложу, разбойник стоит? просто статуя великолепная, на которого на самого заглядеться надо, и сейчас по нем видно, что он в коне все нутро соглядает. А как я по этой части сам с детства был наблюдателем, то мне видно, что и сама кобылица-то эта зрит в нем знатока, и сама вся навтыжке перед ним держится: на-де, смотри на меня и любуйся! И таким манером он, этот степенный татарин, смотрел, смотрел на эту кобылицу и не обходил ее, как делают наши офицеры, что по суетливости все вокруг коня мычутся, а он все с одной точки взирал и вдруг кнут опустил, а сам персты у себя на руке молча поцеловал: дескать, антик! и опять на кошме, склавши накрест ноги, сел, а кобылица сейчас ушами запряла, фыркнула и заиграла.

Господа, которые тут стояли, и пошли на нее вперебой торговаться: один дает сто рублей, а другой полтора и так далее, всё большую друг против друга цену нагоняют. Кобылица была, точно, дивная, ростом не великонька, в подобье арабской, но стройненькая, головка маленькая, глазок полный, яблочком, ушки сторожие; бочка самые звонкие, воздушные, спинка как стрелка, а ножки легкие, точеные, самые уносистые. Я, как подобной красоты был любитель, то никак глаз от этой кобылицы не отвлеку. А хан Джангар видит, что на всех от нее зорость пришла и господа на нее как оглашенные цену наполняют, кивнул чумазому татарчонку, а тот как прыг на нее, на лебедушку, да и ну ее гонить, – сидит, знаете, по-своему, по-татарски, коленками ее ежит, а она под ним окрыляется и точно птица летит и не всколыхнет, а как он ей к холочке принагнется да на нее гикнет, так она так вместе с песком в один вихорь и воскурится. «Ах, ты, змея! – думаю себе, – ах ты, стрепет степной, аспидский! где ты только могла такая зародиться?» И чувствую, что рванулась моя душа к ней, к этой лошади, родной страстию. Пригонил ее татарчище назад, она пыхнула сразу в обе ноздри, выдулась и всю усталость сбросила и больше ни дыхнет и ни сапнет. «Ах, ты, – думаю, – милушка; ах ты милушка!» Кажется, спроси бы у меня за нее татарин не то что мою душу, а отца и мать родную, и тех бы не пожалел, но где было о том и думать, чтобы такого летуна достать, когда за нее между господами и ремонтёрами невесть какая цена слагалась, но и это еще было все ничего, как вдруг, тут еще торг не был кончен, и никому она не досталась, как видим, из-за

Суры, от Селиксы, гонит на вороном коне борзый всадник, а сам широкою шляпой машет, и подлетел, соскочил, коня бросил и прямо к той к белой кобылице, и стал опять у нее в головах, как и первый статуй, и говорит:

«Моя кобылица».

А хан отвечает:

«Как не твоя: господа мне за нее пятьсот монетов дают».

А тот всадник – татарчище этаким огромный и пузатый, морда загорела и вся облупилась, словно кожа с нее сорвана, а глаза малые, точно щелки, и орет сразу:

«Сто монетов больше всех даю!»

Господа взъерепенились, еще больше сулят, а сухой хан Джангар сидит да губы цмокает, а от Суры с другой стороны еще всадник-татарчище гонит на гривастом коне, на игренем, и этот опять весь худой, желтый, в чем кости держатся, а еще озорнее того, что первый приехал. Этот сьерзнул с коня, и как гвоздь воткнулся перед белой кобылицей, и говорит:

«Всем отвечаю: хочу, чтобы моя была кобылица!»

Я и спрашиваю соседа: в чем тут у них дело зависит. А он отвечает:

«Это, – говорит, – дело зависит от очень большого хана Джангарова понятия. Он, – говорит, – не один раз, а чуть не всякую ярмарку тут такую штуку подводит, что прежде всех своих обыкновенных коней, коих пригонит сюда, распродаст, а потом в последний день, михорь его знает откуда, как из-за пазухи выймет такого коня или двух, что конэсеры не знают что делают; а он, хитрый татарин, глядит на это да тешится, и еще деньги за то получает. Эту его привычку зная, все уже так этого последыша от него и ожидают, и вот оно так и теперь вышло: все думали, хан ноне уедет, и он, точно, ночью уедет, а теперь ишь какую кобылицу вывел...»

«Диво, – говорю, – какая лошадь!»

«Подлинно диво, он ее, говорят, к ярмарке всередине косяка пригонил, и так гнал, что ее за другими конями никому видеть нельзя было, и никто про нее не знал, опричь этих татар, что приехали, да и тем он казал, что кобылица у него не продажная, а заветная, да ночью ее от других отлучил и под Мордовский ишим в лес отогнал и там на поляне с особым пастухом пас, а теперь вдруг ее выпустил и продавать стал, и ты погляди, что из-за нее тут за чудеса будут, и что он, собака, за нее возьмет, а если хочешь, ударимся об заклад, кому она достанется?»

«А что, мол, такое: из-за чего нам биться?»

«А из-за того, – отвечает, – что тут страсть, что сейчас почнется: и все господа непременно спятятся, а лошадь который-нибудь вот из этих двух азиатов возьмет».

«Что же они, – спрашиваю, – очень, что ли, богаты?»

«И богатые, – отвечает, – и озорные охотники: они свои большие косяки гоняют и хорошей, заветной лошади друг другу в жизнь не уступят. Их все знают: этот, брюхастый, что вся морда облуплена, это называется Бакшей Отучев, а худощавый, что одни кости ходят, Чепкун Емгурчиев, – оба злые охотники, и ты только смотри, что они за потеху сделают».

Я замолчал и смотрю: господа, которые за кобылицу торговались, уже отступились от нее и только глядят, а те два татарина друг дружку отпихивают и все хана Джангара по рукам хлопают, а сами за кобылицу держатся и все трясутся да кричат; один кричит:

«Я даю за нее, кроме монетов, еще пять голов» (значить пять лошадей), а другой вопит:

«Врет твоя морда, я даю десять».

Бакшей Отучев кричит:

«Я даю пятнадцать голов».

А Чепкун Емгурчиев:

«Двадцать».

Бакшей:

«Двадцать пять».

А Чепкун:

«Тридцать».

А больше ни у того, ни у другого, видно, уже нет... Чепкун крикнул тридцать, и Бакшей дает тоже только тридцать, а больше нет; но зато Чепкун еще в придачу седло сулит, а Бакшей седло и халат, и Чепкун халат скидает, а больше опять друг друга им нечем одолевать. Чепкун крикнул: «Слушай меня, хан Джангар: я домой приеду, я к тебе свою дочь пригоню», – и Бакшей тоже дочь сулит, а больше опять друг друга нечем пересилить. Тут вдруг вся татарва, кои тут это торговище зрели, заорали, загалдели по-своему; их разнимают, чтобы до разорения друг друга не довели, тормозят их, Чепкуна и Бакшея, в разные стороны, в бока их тычут, уговаривают.

Я спрашиваю у соседа:

«Скажи, пожалуйста, что это такое у них теперь пошло?»

«А вот, видишь, – говорит, – этим князьям, которые их разнимают, им Чепкуна с Бакшеем жалко, что они очень заторговались, так вот они их разлучают, чтобы опомнились и как-нибудь друг дружке честью кобылицу уступили».

«Как же, – спрашиваю, – можно ли, чтобы они друг дружке ее уступили, когда она обоим им так нравится? Этого быть не может».

«Отчего же, – отвечает, – азиаты народ рассудительный и степенный: они рассудят, что зачем напрасно имение терять, и хану Джангару дадут, сколько он просит, а кому коня взять, с общего согласия наперепор пустят».

Я любопытствую:

«Что же, мол, такое это значит: “наперепор”».

А тот мне отвечает:

«Нечего спрашивать, смотри, это видеть надо, а оно сейчас начинается».

Смотрю я и вижу, что и Бакшей Отучев и Чепкун Емгурчиев оба будто стилили и у тех своих татар-мировщиков вырываются и оба друг к другу бросились, подбежали и по рукам бьют.

«Сгодá!» – дескать, поладили.

И тот то же самое отвечает:

«Сгодá: поладили!»

И оба враз с себя и халаты долой, и бешметы, и чевяки сбросили, ситцевые рубахи сняли, и в одних широких полосатых портищах остались, и плюх один против другого, сели на землю, как куроxtаны степные, и сидят.

В первый раз мне этáкое диво видеть доводилось, и я смотрю, что дальше будет? А они друг дружке левые руки подали и крепко их держат, ноги растопырили и ими друг дружке следами в следы уперлись и кричат: «Подавай!»

Что такое они себе требуют «подавать», я не предвижу, но те, татарва-то, из кучки отвечают:

«Сейчас, бачка, сейчас».

И вот вышел из этой кучки татарин старый, степенный такой, и держит в руках две здоровые нагайки и сравнял их в руках и кажет всей публике и Чепкуну с Бакшеем: смотрите, говорит, обе штуки ровные.

«Ровные, – кричат татарва, – все мы видим, что благородно сделаны, плети ровные! Пусть садятся и начинают».

А Бакшей и Чепкун так и рвутся, за нагайки хватаются.

Степенный татарин и говорит им: «Подождите», – и сам им эти нагайки подал: одну Чепкуну, а другую Бакшею, да ладошками хлопает тихо, раз, два и три... И только что он в третье хлопнул, как Бакшей стегнет изо всей силы Чепкуна нагайкою через плечо по голой спине, а Чепкун таким самым манером на ответ его. Да и пошли эдак один другого потчевать: в глаза друг другу глядят, ноги в ноги следками упираются и левые руки крепко жмут, а правыми с

нагайками порются... Ух, как они знатно поролось! Один хорошо черкнет, а другой еще лучше. Глаза-то у обоих даже вытолбенели и левые руки замерли, а ни тот, ни другой не сдается.

Я спрашиваю у моего знакомого:

«Что же это, мол, у них, стало быть, вроде как господа на дуэль, что ли, выходят?»

«Да, – отвечает, – тоже такой поединок, только это, говорит, не насчет чести, а чтобы не расхотеться».

«И что же, – говорю, – они эдак могут друг друга долго сечь?»

«А сколько им, – говорит, – похочется и сколько силы станет».

А те все хлещутся, а в народе за них спор пошел: одни говорят: «Чепкун Бакшея перепорет», а другие спорят: «Бакшей Чепкуна перебьет» и, кому хочется, об заклад держат – те за Чепкуна, а те за Бакшея, кто на кого больше надеется. Поглядят им с познанием в глаза и в зубы, и на спины посмотрят, и по каким-то приметам понимают, кто надежнее, за того и держат. Человек, с которым я тут разговаривал, тоже из зрителей опытных был и стал сначала за Бакшея держать, а потом говорит:

«Ах, квит, пропал мой двугривенный: Чепкун Бакшея собьет».

А я говорю:

«Почему то знать? Еще, мол, ничего не можно утвердить: оба еще ровно сидят». А тот мне отвечает:

«Сидят-то, – говорит, – они еще оба ровно, да не одна в них повадка».

«Что же, – говорю, – по моему мнению, Бакшей еще ярче стегает».

«А вот то, – отвечает, – и плохо. Нет, пропал за него мой двугривенный: Чепкун его заперет».

«Что это, – думаю, – такое за диковина: как он непонятно, этот мой знакомец, рассуждает? А ведь он же, – размышляю, – должно быть, в этом деле хорошо понимает практику, когда об заклад бьется!»

И стало мне, знаете, очень любопытно, и я к этому знакомцу пристаю.

«Скажи, – говорю, – милый человек, отчего ты теперь за Бакшея опасешься?»

А он говорит:

«Экой ты пригородник глупый: ты гляди, – говорит, – какая у Бакшея спина».

Я гляжу: ничего, спина этакая хорошая, мужественная, большая и пухлая, как подушка.

«А видишь, – говорит, – как он бьет?»

Гляжу и вижу тоже, что бьет яростно, даже глаза на лоб выпялил, и так его как ударит, так сразу до крови и режет.

«Ну, а теперь сообрази, как он нутрём действует?»

«Что же, мол, такое нутрём?» – я вижу одно, что сидит он прямо, и весь рот открыл, и воздух в себя шибко забирает.

А мой знакомец и говорит:

«Вот это-то и худо: спина велика, по ней весь удар просторно ложится; шибко бьет, запыхается, а в открытый рот дышит, он у себя воздухом все нутро пережжет».

«Что же, – спрашиваю, – стало быть, Чепкун надежнее?»

«Непременно, – отвечает, – надежнее: видишь, он весь сухой, кости в одной коже держатся, а спиночка у него как лопата коробленая, по ней ни за что по всей удар не падет, а только местечками, а сам он, зри, как Бакшея спрехвала поливает, не частит, а с повадочкой, и плоть сразу не отхватывает, а под нею коже напухать дает. Вон она от этого, спина-то, у Бакшея вся и вздулась и как котел посинела, а крови нет, и вся боль у него теперь в теле стоит, а у Чепкуна на худой спине кожичка как на жареном поросенке трещит, прорывается, и оттого у него вся боль кровью сойдет, и он Бакшея заперет. Понимаешь ты это теперь?»

«Теперь, – говорю, – понимаю, – и точно, тут я всю эту азиатскую практику сразу понял и сильно ею заинтересовался: как в таком случае надо полезнее действовать?»

«А еще самое главное, – указывает мой знакомец, – замечай, – говорит, – как этот проклятый Чепкун хорошо мордой такту соблюдает; видишь: стегнет и на ответ сам вытерпит и соразмерно глазами хлопнет, – это легче, чем пялить глаза, как Бакшей пялит, и Чепкун зубы стиснул и губы прикусил, это тоже легче, оттого что в нем через эту замкнутость излишнего горения внутри нет».

Я все эти его любопытные приметы на ум взял и сам вглядываюсь и в Чепкуна и в Бакшея, и все мне стало и самому понятно, что Бакшей непременно свалится, потому что у него уже и глазища совсем обостолопели и губы веревочкой собрались и весь оскал открыли... И точно, глядим, Бакшей еще раз двадцать Чепкуна стеганул, и все раз от разу слабее, да вдруг бряк назад и левую Чепкунову руку выпустил, а своею правою все еще двигает, как будто бьет, но уже без памяти, совсем в обмороке. Ну, тот мой знакомый говорит: «Шабаш: пропал мой двугривенный». Тут все и татары заговорили, поздравляют Чепкуна, кричат:

«Ай, башка Чепкун Емгурчеев, ай, умнай башка – совсем пересек Бакшея, садись – теперь твоя кобыла».

И сам хан Джангар встал с кошмы и похаживает, а сам губами шлепает и тоже говорит: «Твоя, твоя, Чепкун, кобылица: садись, гони, на ней отдыхай».

Чепкун и встал: кровь струит по спине, а ничего виду болезни не дает, положил кобылице на спину свой халат и бешмет, а сам на нее брюхом вскинулся и таким манером поехал, и мне опять скучно стало.

«Вот, – думаю, – все это уже и окончилось, и мне опять про свое положение в голову полезет», – а мне страх как не хотелось про это думать.

Но только, спасибо, мой тот знакомый человек говорит мне:

«Подожди, не уходи, тут непременно что-то еще будет».

Я говорю:

«Чему же еще быть? все кончено».

«Нет, – говорит, – не кончено, ты смотри, – говорит, – как хан Джангар трубку жжет. Видишь, палит: это он непременно еще про себя что-нибудь думает, самое азиатское».

Ну, а я себе думаю: «Ах, если еще что будет в этом самом роде, то уже было бы только кому за меня заложиться, а уже я не спущу!»

## Глава VI

– И что же вы изволите полагать? Все точно так и вышло, как мне желалось: хан Джангар трубку палит, а на него из чищобы гонит еще татарчонок, и уже этот не на такой кобылице, какую Чепкун с мировой у Бакшея взял, а караковый жеребенок, какого и описать нельзя. Если вы видали когда-нибудь, как по меже в хлебах птичка коростель бежит, – по-нашему, по-орловски, дергач зовется: крыла он растопырит, а зад у него не как у прочих птиц, не распространяется по воздуху, а вниз висит и ноги книзу пустит, точно они ему не надобны, – настоящее, выходит, будто он едет по воздуху. Вот и этот новый конь, на эту птицу подобно, точно не своей силой неся.

Истинно не солгу скажу, что он даже не летел, а только земли за ним сзади прибавлялось. Я этакой легкости сроду не видал и не знал, как сего конька и ценить, на какие сокровища, и кому его обречь, какому королевичу, а уже тем паче никогда того не думал, чтобы этот конь мой стал.

– Как он ваш стал? – перебили рассказчика удивленные слушатели.

– Так-с, мой, по всем правам мой, но только на одну минуту, а каким манером, извольте про это слушать, если угодно. Господа, по своему обыкновению, начали и на эту лошадь торговаться, и мой ремонтер, которому я дитя подарил, тоже встрял, а против них, точно ровня им, взялся татарин Савакирей, этакий коротыш, небольшой, но крепкий, верченый, голова бритая, словно точеная, и круглая, будто молодой кочешок крепенький, а рожа как морковь красная, и весь он будто огородинка какая здоровая и свежая. Кричит: «Что, – говорит, – по-пустому карман терять нечего, клади кто хочет деньги за руки, сколько хан просит, и давай со мною пороться, кому конь достанется?»

Господам, разумеется, это не пристало, и они от этого сейчас в сторону; да и где им с этим татаринком сечься, он бы, поганый, их всех перебил. А у моего ремонтера тогда уже и денег-то не очень густо было, потому он в Пензе опять в карты проигрался, а лошадь ему, я вижу, хочется. Вот я его сзади дернул за рукав, да и говорю: так и так, мол, лишнего сулить не надо, а что хан требует, то дайте, а я с Савакиреем сяду потягаться на мировую. Он было не хотел, но я упрямился, говорю:

«Сделайте такую милость: мне хочется».

Ну, так и сделали.

– Вы с этим татаринком... что же... секли друг друга?

– Да-с, тоже таким манером попоролись на мировую, и жеребенок мне достался.

– Значит, вы татарина победили?

– Победил-с не без труда, но пересилил его.

– Ведь это, должно быть, ужасная боль?

– Ммм... как вам сказать... Да, вначале есть-с; и даже очень чувствительно, особенно потому, что без привычки, и он, этот Савакирей, тоже имел сноровку на опух бить, чтобы кровь не спускать, но я против этого его тонкого искусства свою хитрую сноровку взял: как он меня хлобыснет, я сам под нагайкой спиною поддерну, и так принооровился, что сейчас шкурку себе и сорву, таким манером и обезопасился, и сам этого Савакирея запорол.

– Как запорол, неужто совершенно до смерти?

– Да-с, он через свое упорство да через политику так глупо себя допустил, что его больше и на свете не стало, – отвечал добродушно и бесстрастно рассказчик и, видя, что слушатели все смотрят на него если не с ужасом, то с немим недоумением, как будто почувствовал необходимость пополнить свой рассказ пояснением.

– Видите, – продолжал он, – это стало не от меня, а от него, потому что он во всех Рынь-песках первый батырь считался и через эту амбицию ни за что не хотел мне уступить, хотел

благородно вытерпеть, чтобы позора через себя на азиатскую нацию не положить, но сомлел, беднячок, и против меня не вытерпел, верно потому, что я в рот грош взял. Ужасно это помогает, и я все его грыз, чтобы боли не чувствовать, а для рассеянности мыслей в уме удары считал, так мне и ничего.

– И сколько же вы насчитали ударов? – перебили рассказчика.

– А вот наверное этого сказать не могу-с, помню, что я сосчитал до двести до восемьдесят и два, а потом вдруг покачнуло меня вроде обморока, я и сбился на минуту и уже так, без счета пуцал, но только Савакирей тут же вскоре последний разок на меня замахнулся, а уже ударить не мог, сам, как кукла, на меня вперед и упал: посмотрели, а он мертвый... Тьфу ты, дурак эдакий! до чего дотерпелся? Чуть я за него в острог не попал. Татарва – те ничего: ну, убил и убил: на то такие были кондиции, потому что и он меня мог засечь, но свои, наши русские, даже досадно как этого не понимают, и взъелись. Я говорю:

«Ну, вам что такого? что вам за надобность?»

«Как, – говорят, – ведь ты азиата убил?»

«Ну, так что же, мол, такое, что я его убил? Ведь это дело любовное. А разве лучше было бы, если бы он меня засек?»

«Он, – говорят, – тебя мог засечь, и ему ничего, потому что он иновер, а тебя, – говорят, – по христианству надо судить. Пойдем, – говорят, – в полицию».





Ну, я себе думаю: «Ладно, братцы, судите ветра в поле»; а как, по-моему, полиция, нет ее ничего вреднее, то я сейчас шмыг за одного татарина, да за другого. Шепчу им:

«Спасайте, князя: сами видели, все это было на честном бою...»

Они сжались, и пошли меня друг за дружку перепихивать, и скрыли.

– То есть позвольте... как же они вас скрыли?

– Совсем я с ними бежал в их степи.

– В степи даже!

– Да-с, в самые Рынь-пески.

– И долго там провели?

– Целые десять лет: двадцати трех лет меня в Рынь-пески доставили, по тридцать четвертому году я оттуда назад убежал.

– Что же, вам понравилось или нет в степи жить?

– Нет-с; что же там может нравиться? скучно, и больше ничего; а только раньше уйти нельзя было.

– Отчего же: держали вас татары в яме или караулили?

– Нет-с, они добрые, они этого неблагородства со мною не допускали, чтобы в яму сажать или в колодки, а просто говорят: «Ты нам, Иван, будь приятель; мы, – говорят, – тебя очень любим, и ты с нами в степи живи и полезным человеком будь, – коней нам лечи и бабам помогай».

– И вы лечили?

– Лечил; я так у них за лекаря и был, и самих их, и скотину всю, и коней, и овец, всего больше жен ихних, татарок, пользовал.

– Да вы разве умеете лечить?

– Как бы вам это сказать... Да ведь в этом какая же хитрость? Чем кто заболит – я сабуру дам или калганного корня, и пройдет, а сабуру у них много было, – в Саратове один татарин целый мешок нашел и привез, да они до меня не знали, к чему его определить.

– И обжились вы с ними?

– Нет-с, постоянно назад стремился.

– И неужто никак нельзя было уйти от них?

– Нет-с, отчего же, если бы у меня ноги в своем виде оставались, так я, наверно, давно бы назад в отечество ушел.

– А у вас что же с ногами случилось?

– Подщетилен я был после первого раза.

– Как это?... Извините, пожалуйста, мы не совсем понимаем, что это значит, что вы были подщетилены?

– Это у них самое обыкновенное средство: если они кого полюбят и удержать хотят, а тот тоскует или попытается бежать, то и сделают с ним, чтобы он не ушел. Так и мне, после того как я раз попробовал уходить, да сбился с дороги, они поймали меня и говорят: «Знаешь, Иван, ты, – говорят, – нам будь приятель, и чтобы ты опять не ушел от нас, мы тебе лучше пятки нарубим и малость щетинки туда пихнем»; ну и испортили мне таким манером ноги, так что все время на карачках ползал.

– Скажите, пожалуйста: как же они делают эту ужасную операцию?

– Очень просто-с: повалили меня на землю человек десять и говорят: «Ты кричи, Иван, погромче кричи, когда мы начнем резать: тебе тогда легче будет», и сверх меня сели, а один такой искусник из них в одну минуточку мне на подошвах шкурку подрезал да рубленой коневой гривы туда засыпал и опять с этой подсыпкой шкурку завернул и стрункой зашил. После этого тут они меня, точно, дён несколько держали руки связавши, – всё боялись, чтобы я себе ран не вредил и щетинку гноем не вывел; а как шкурка зажила, и отпустили: «Теперь, – говорят, – здравствуй, Иван, теперь уже ты совсем наш приятель и от нас отсюда никуда не уйдешь».

Я тогда только встал на ноги, да и бряк опять на землю: волос-то этот рубленый, что под шкурой в пятах зарос, так смертно больно в живое мясо колотся, что не только шагу ступить невозможно, а даже устоять на ногах средства нет. Сроду я не плакивал, а тут даже в голос заголосил.

«Что же это, – говорю, – вы со мною, азиаты проклятые, устроили? Вы бы меня лучше, аспиды, совсем убили, чем этак целый век таким калекой быть, что ступить не могу».

А они говорят:

«Ничего, Иван, ничего, что ты по пустому делу обижаешься».

«Какое же, – говорю, – это пустое дело, так человека испортить, да еще чтобы не обижаться?»

«А ты, – говорят, – присноровись, прямо-то на следки не наступай, а раскорячком на косточках ходи».

«Тыфу вы, подлецы!» – думаю я себе и от них отвернулся и говорить не стал, и только порешил себе в своей голове, что лучше уже умру, а не стану, мол, по вашему совету раско-рякою на щиколотках ходить; но потом полежал-полежал, – скука смертная одолела, и стал присноравливаться и мало-помалу пошел на щиколотках ковылять. Но только они надо мной через это нимало не смеялись, а еще говорили:

– Вот и хорошо, и хорошо, Иван, ходишь».

– Экое несчастье, и как же вы это пустились уходить и опять попались?

– Да невозможно-с; степь ровная, дорог нет, и есть хочется... Три дня шел, ослабел не хуже лиса, руками какую-то птицу поймал и сырую ее съел, а там опять голод, и воды нет... Как идти?.. Так и упал, а они отыскиали меня и взяли и подщитинили.

Некто из слушателей заметил по поводу этого подщитиниванья, что ведь это, должно быть, из рук вон неловко ходить на щиколотках.

– Попервоначалу даже очень нехорошо, – отвечал Иван Северьяныч, – да и потом хоть я изловчился, а все много пройти нельзя. Но только зато они, эта татарва, не стану лгать, обо мне с этих пор хорошо печалились.

«Теперь, – говорят, – тебе, Иван, самому трудно быть: тебе ни воды принести, ни что прочее для себя сготовить неловко. Бери, – говорят, – брат, себе теперь Наташу, – мы тебе хорошую Наташу дадим, какую хочешь выбирай». Я говорю:

«Что мне их выбирать: одна в них во всех польза. Давайте какую попало». Ну, они меня сейчас без спора и женили.

– Как! женили вас на татарке?

– Да-с, разумеется, на татарке. Сначала на одной, того самого Савакирея жене, которого я пересек, только она, эта татарка, вышла совсем мне не по вкусу: благая какая-то и все как будто очень меня боялась и нимало меня не веселила. По мужу, что ли, она скучала, или так к сердцу ей что-то подступало. Ну, так они заметили, что я ею стал отягощаться, и сейчас другую мне привели, эта маленькая была девочка, не более как всего годов тринадцати... Сказали мне:

«Возьми, Иван, еще эту Наташу, эта будет утешнее».

Я и взял.

– И что же: эта точно была для вас утешнее? – спросили слушатели Ивана Северьяныча.

– Да, – отвечал он, – эта вышла поутешнее, только порою, бывало, веселит, а порою тем докучает, что балуется.

– Как же она баловалась?

– А разное... Как ей, бывало, вздумается; на колени, бывало, вскочит; либо спишь, а она с головы тюбетейку ногой скопнет да закинет куда попало, а сама смеется. Станешь на нее грозиться, а она хохочет, заливается, да, как русалка, бегать почнет, ну а мне ее на карачках не догнать – шлепнешься, да и сам рассмеешься.

– А вы там, в степи, голову брили и носили тюбетейку?

– Брил-с.

– Для чего же это? верно, хотели нравиться вашим женам?

– Нет-с; больше для опрятности, потому что там бань нет.

– Таким образом, у вас, значит, зараз было две жены?

– Да-с, в этой степи две; а потом у другого хана, у Агашимолы, кой меня угонил от Отучева, мне еще две дали.

– Позвольте же, – запытал опять один из слушателей, – как же вас могли угнать?

– Подвохом-с. Я ведь из Пензы бежал с татарвою Чепкуна Емгурчеева и лет пять подряд жил в емгурчеевской орде, и тут съезжались к нему на радости все князья, и уланы, и ших-зады, и мало-зады, и бывал хан Джангар и Бакшей Отучев.

– Это которого Чепкун сек?

– Да-с, тот самый.

– Как же это... Разве Бакшей на Чепкуна не сердился?

– За что же?

– За то, что он так порол его и лошадь у него отбил?

– Нет-с, они никогда за это друг на друга не сердятся: кто кого по любовному уговору перебьет, тот и получай, и больше ничего; а только хан Джангар мне, точно, один раз выговаривал... «Эх, – говорит, – Иван, эх, глупая твоя башка, Иван, зачем ты с Савакиреем за русского князя сечься сел, я, – говорит, – было хотел смеяться, как сам князь рубаха долой будет снимать».

«Никогда бы, – отвечаю ему, – ты этого не дождал».

«Отчего?»

«Оттого, что наши князья, – говорю, – слабодушные и не мужественные, и сила их самая ничтожная».

Он понял.

«Я так, – говорит, – и видел, что из них, – говорит, – настоящих охотников нет, а все только если что хотят получить, так за деньги».

«Это, мол, верно: они без денег ничего не могут». Ну, а Агашимола, он из дальней орды был, где-то над самым Каспием его косяки ходили, он очень лечиться любил и позвал меня свою ханшу попользовать и много голов скота за то Емгурчею обещал. Емгурчей меня к нему и отпустил: набрал я с собою сабуру и калганного корня и поехал с ним. А Агашимола как взял меня, да и гайда в сторону со всем кочем, восемь дней в сторону скакали.

– И вы верхом ехали?

– Верхом-с.

– А как же ваши ноги?

– А что же такое?

– Да волос-то рубленый, который у вас в пятках был, разве он вас не беспокоил?

– Ничего; это у них хорошо приноровлено: они эдак кого волосом подщетилят, тому хорошо ходить нельзя, а на коне такой подщетенный человек еще лучше обыкновенного сидит, потому что он, раскорякой ходючи, всегда ноги колесом привыкает держать и коня, как обручем, ими обтянет так, что ни за что его долой и не сбить.

– Ну и что же с вами далее было в новой степи у Агашимолы?

– Опять и еще жесточе погибал.

– Но не погибли?

– Нет-с, не погиб.

– Сделайте же милость, расскажите: что вы дальше у Агашимолы вытерпели.

– Извольте.

## Глава VII

– Как Агашимолова татарва пригнали со мной на становище, так и гайда на другое, на новое место пошли и уже не выпустили меня.

«Что, – говорят, – тебе там, Иван, с Емгурчеевыми жить, – Емгурчей вор, ты с нами живи, мы тебя с охотой уважать будем и хороших Наташ тебе дадим. Там у тебя всего две Наташи было, а мы тебе больше дадим».

Я отказался.

«На что, – говорю, – мне их больше? мне больше не надо».

«Нет, – говорят, – ты не понимаешь: больше Наташ лучше: они тебе больше Колек нарожают, все тебя тяткой кричать будут».

«Ну, – говорю, – легко ли мне обязанность татарчат воспитывать. Кабы их крестить и причащать было кому, другое бы еще дело, а то что же: сколько я их ни умножу, все они ваши же будут, а не православные, да еще и обманывать мужиков станут, как вырастут». Так двух жен опять взял, а больше не принял, потому что если много баб, так они хоть и татарки, но ссорятся, поганые, и их надо постоянно учить.

– Ну-с, и что же, любили вы этих ваших новых жен?

– Как-с?

– Этих новых жен своих вы любили?

– Любить?.. Да, то есть вы про это? ничего, одна, что я от Агашимолы принял, была до меня услужлива, так я ее ничего... сожалел.

– А ту девочку, что прежде молоденькая-то такая у вас в женах была? она вам, верно, больше нравилась?

– Ничего; я и ее жалел.

– И скучали, наверно, по ней, когда вас из одной орды в другую украли?

– Нет; скучать не скучал.

– Но ведь у вас, верно, и там от тех от первых жен дети были?

– Как же-с, были: Савакиреева жена родила двух Колек да Наташку, да эта, маленькая, в пять лет шесть штук породила, потому что она двух Колек в один раз парюю принесла.

– Позвольте, однако, спросить вас: почему вы их все так называете «Кольками» да «Наташками»?

– А это по-татарски. У них всё если взрослый русский человек – так *Иван*, а женщина – *Наташа*, а мальчиков они *Кольками* кличут, так и моих жен, хоть они и татарки были, но по мне их все уже русскими числили и Наташками звали, а мальчишек Кольками. Однако все это, разумеется, только поверхностно, потому что они были без всех церковных таинств, и я их за своих детей не почитал.

– Как же не почитали за своих? почему же это так?

– Да что же их считать, когда они некрещеные-с и миром не мазаны.

– А чувства-то ваши родительские?

– Что же такое-с?

– Да неужто же вы этих детей нисколько и не любили и не ласкали их никогда?

– Да ведь как их ласкать? Разумеется, если, бывало, когда один сидишь, а который-нибудь подбежит, ну ничего, по головке его рукой поведешь, погладишь и скажешь ему: «Ступай к матери», но только это редко доводилось, потому мне не до них было.

– А отчего же не до них: дела, что ли, у вас очень много было?

– Нет-с; дела никакого, а тосковал: очень домой в Россию хотелось.

– Так вы и в десять лет не привыкли к степям?

– Нет-с, домой хочется... тоска делалась. Особенно по вечерам, или даже когда среди дня стоит погода хорошая, жарынь, в стану тихо, вся татарва от зною попадает по шатрам и спит, а я подниму у своего шатра полочку и гляжу на степи... в одну сторону и в другую – все одинаково... Знойный вид, жестокий; простор – краю нет; травы, буйство; ковыль белый, пушистый, как серебряное море, волнуется, и по ветерку запах несет: овцой пахнет, а солнце обливает, жжет, и степи, словно жизни тягостной, нигде конца не предвидится, и тут глубине тоски дна нет... Зришь, сам не знаешь куда, и вдруг пред тобой отколь ни возьмется обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и заплачешь.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.